

АРТЕФАКТ & ДЕТЕКТИВ

Не было в тех краях
женщины прекрасней,
чем графиня Эржбета
из славного рода Батори.

Но время грозило
уничтожить ее красоту,
и тогда Эржбета
отыскала способ
победить время...

Екатерина ЛЕСИНА

Вечная молодость графини



Артефакт & Детектив

Екатерина Лесина

Вечная молодость графини

«ЭКСМО»

2011

Лесина Е.

Вечная молодость графини / Е. Лесина — «Эксмо»,
2011 — (Артефакт & Детектив)

ISBN 978-5-699-49232-9

Обе падчерицы Алины Красникиной умерли. Она подозревала, что к смерти девушек причастен кто-то из близких родственников. И опасаясь стать следующей жертвой своих будущих наследников, Алина обратилась к частному детективу Дарье Беловой. Однако Дарья уверена – дело не только в наследстве. К случившемуся с девушками причастен старинный гребень, принадлежавший Эржбете Батори – более известной как Кровавая графиня из замка Чейте, – хрупкой, прекрасной и жестокой. Не одну юную жизнь забрал роковой гребень, сохраняя хозяйке красоту и молодость... Дарье помогает патологоанатом Адам Тынин. Ни в какие легенды он, конечно же, не верит. Но результаты вскрытия озадачивают даже его...

ISBN 978-5-699-49232-9

© Лесина Е., 2011

© Эксмо, 2011

Содержание

Пролог	5
Часть 1	7
Часть 2	38
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Екатерина Лесина

Вечная молодость графини

*«Свет мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»*

А.С. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

Пролог

Клара Батори расчесывала волосы. Чудесной шалью лежали они на плечах, обнимали руки и ласкали длинную шею. И любовник, наблюдавший за Кларой, не выдержал, протянул руку, желая прикоснуться.

– Нет, – сказала Клара, отстраняясь.

– Ты прекрасна!

– Да.

– Жаль, если эта красота пропадет, – произнес он, пожирая ее взглядом. – Вы, женщины, как цветы. Быстро увядаете.

Рука дрогнула, и седой волос соскользнул на ладонь.

– Жаль, что нет способа сохранить твою красоту, – продолжил глупец и злой насмешник. И Клара зажмурилась, не желая видеть лица его.

– Есть способ, – ответила она, сама того не желая.

Есть. Темные дороги открыты тем, у кого хватит смелости ступить на них. И платить за каждый шаг.

– Тогда почему ты не используешь его? – он жесток, ее случайный спутник. Он задает вопросы, которые Клара сама боится задать себе. И даже факт, что поутру этот человек навсегда исчезнет из Клариной жизни, не приносит успокоения.

Он исчезнет, а сказанное останется.

– Потому что... потому что цена высока.

А выигрши ничтожен. Кого ради хранить красоту? Ради очередного престарелого супруга, который жив лишь потому, что Клара боится подойти к пропасти? Или ради случайных красавцев вроде нынешнего? Ради себя самой?

– Хочешь, я расскажу тебе одну историю? – Клара села на кровать и провела гребнем по волосам любовника. – Давным-давно пришли на эти земли братья Гуд Келед. Грозных даков они привели с собой, и крепко сели на этих землях, обласканные королем. Дал он им имя Батори, сиречь храбрый, и право возводить замки. Дал пленников безмерно. Дал золота и серебра. Долго были вместе братья. И дети их тоже друг друга держались. И дети детей. Крепко росли в скалы Венгрии. А знаешь, почему?

– Нет.

– Потому что прежде, чем семена нового рода сеять, щедро полили землю кровью. Так всегда бывает. Многие деревни и города они вырезали, многих дев замуровали в камень замков, ибо верили не в Бога, но в богов, а они были темны. И однажды встретилась на пути братьев женщина нагая да черноволосая. В руке ее был камень, в волосах росло дерево, а на плече сидела птица. И сказала она: щедрый вы были к богам. И щедрыми будут к вам боги. Сколько отдали, столько и отдано будет. Полтысячи лет стоят дереву рода Батори. Но срок пройдет – и рухнет, ибо нельзя купить вечность, как нельзя купить жизнь. И поклонились братья,

поблагодарив женищину. И одарила она их истинной тьмой и способностью зреть грядущее. То ли награда, то ли проклятье...

– И что?

– Ничего. Срок подходит. Ждут темные дороги, того ждут, у кого хватит духу дойти до конца, заглянуть за дверь запертую и вернуть подарок. Без этого не будет новой жизни. Ты замерз? Иди ко мне, я согрею тебя.

Наутро его жизнь согрела Клару. И грела, пока длилась скоротечная лихорадка, переплавляя жар из одного тела в другое. Глупый насмешник умер, так ничего и не поняв. А Клара сделала еще один шагжок по темному пути.

Она была очень осторожна.

И знала, что не решится дойти до конца. Как знала и то, что вот-вот появится на свет дитя из рода Батори, у которого будет больше смелости и меньше страха. Она дойдет до края и смело шагнет в бездну.

А бездна примет человека, и тьма сольется с темнотой.

Этот путь уже прочертили звезды. А перечить звездам – не в силах человеческих.

И Клара спрятала гребень в шкатулку, а шкатулку – в тайник: всякому дару – свое время. Всякой судьбе – своя нить.

Всякой смерти – свой час.

Да будет так.

Часть 1

Тьма

Она лежала перед Адамом нагая и беззащитная. Розовые пятки разведены, а большие пальцы ног соприкасаются. Узкие щиколотки кажутся неестественно хрупкими, колени же выделяются такими желтоватыми яблоками с мелкой россыпью синяков.

Адам перевел взгляд выше, на плоский живот и раздутую грудную клетку. Под тонкой кожей явственно проступала решетка ребер, а темные точки сосков казались бархатными мушками.

– Здравствуй, – сказал Адам, убирая с лица соломенную прядь. – Извини, что не поверил.

Девушка не ответила. И данный факт был логичен: мертвецы в принципе не способны поддерживать беседу. Но с другой стороны, нельзя было сказать, что они молчат.

Девушка, к примеру, улыбалась. Яркий свет лампы стер краски с ее лица, и даже волосы сделались неестественно белыми, словно нарезанными из бумаги, и лишь губы остались вишнево-красными, набухшими и совершенно неправильными.

Раскрыв чемоданчик с гримом, Адам провел пальцем вдоль ячеек, пытаясь на глаз определить оттенок.

Он не станет лезть в это дело.

Он просто выполнит свою работу.

Он вымоет тело. Оденет – платье белое, невестино, с россыпью крахмальных розочек. Обует. Уложит волосы и нарисует лицо. А после отойдет в тень, как всегда...

Но девушка улыбалась. Ее и девушкой-то назвать сложно. Сколько ей? Пятнадцать?

Не нужно заглядывать в документы. Но взгляд уже выхватил нужную графу. Четырнадцать. А сестре и десяти не было.

– Это не моя вина. Я просто... – Адам замолчал и отвернулся, чтобы не видеть этой улыбки. Захлопнул чемодан – щелкнули сердито замки. Сел за стол. Уставился на белую доску.

График заказов. И рядом второй – похорон. Старое фото за стеклом и его, Адама, мутное отражение на глянцевой поверхности.

Мертвый взгляд, в котором не упрек – обвинение: ты же знал, Адам. Ты мог помочь, но отвернулся. И то, что отворачиваешься во второй раз – это нормально. С сумасшедших спрос невелик. Поэтому заткни свою совесть и работай. Завтра в девять ее заберут, и ты выкинешь из головы этот эпизод, как выкинул прошлый.

Или не выкинул? Та, прошлая, от чьего имени ты открестился, точно так же лежала пред тобой, беззащитная в мертвой своей наготе. И ты, уже обмыв тело, осторожно – ты всегда осторожен с мертвецами – убирал влагу с кожи. Бумажные полотенца разбухали и скатывались, ты комкал их, швыряя в урну, одно за другим. Ты не смотрел на лицо, ибо ненавидишь глядеть в лица мертвым детям.

Обычный день. И дверь открылась обычно, без предупреждения, вот только весенний запах чайных роз казался чуждым в твоём логове. Он на мгновение перекрыл и формалиновую вонь, и хлорный смрад, и тухлую смесь бальзамических растворов.

Удивил. Заставил оглянуться и замереть.

– Здравствуйте, – сказала та, которая принесла запах. – Меня зовут Таня. Таня Красникина. Я старшая сестра Ольги.

Ты поморщился, потому что не желал знать имя покойной.

– Можно, я тут посижу? Я тихонько.

– Нет.

Но она все равно села на твой стул, и ты не знал, как прогнать ее. Разглядывал, по ходу отмечая черты сходства: ямочки на щеках, вздернутый нос и вросшие мочки ушей. Голубые глаза. Светлые волосы. Родимое пятно, почти скрытое в левой брови.

– Алина сказала, что вы самый лучший, – ей быстро наскучило молчать. – Она всегда покупает только самое лучшее, иначе смысла нет.

– В чем?

– В том, чтобы покупать. Вы сделаете Олю красивой?

Сделает. Она уже красива, нужно лишь показать эту красоту.

– Я одежду принесла. Я знаю, что она дала вам другую, но... Ольге то платье не понравилось бы...

Белый шифон, крахмальные розы, приметанные наскоро. Подкладка из скрипучего искусственного атласа и изморозь серебряных узоров по рукавам и горловине.

Второе платье проще. И не подходит для мертвеца.

– Я знаю, – поспешила сказать Татьяна. – Я знаю, что другие нужны, но... вы же лучший! Сделайте, пожалуйста! Я заплачу!

Она вытащила кучку мятых долларовых купюр и с отвращением вытряхнула их на стол. Скривилась презрительно, хотя в глазах блеснули слезы. Ты молчал. Ты хотел, чтобы эта девочка в полосатом свитере ушла. Она была безумна в своем горе, которое старательно прятала, и ты боялся, что проснется собственное твое безумие.

– Или мало? Я больше могу! Пожалуйста.

– Хорошо.

Платье оказалось великовато. Пришлось ушивать прямо на теле, и Татьяна, осмелев, помогала. А ты наблюдал исподтишка и привычно держал дистанцию.

– Ее убили, – сказала Татьяна, сделав последний стежок. Нитку она обкусывала, а хвост наматывала на мизинец. – Олю убили. И меня убьют.

– Кто?

Какое тебе дело? Девушку еще загримитовать надо. Тебе и вправду заплатили по высшему разряду, привычно купив лучшее.

– Она. Мачеха. Она нас ненавидит. Притворяется доброй, а на самом деле ненавидит.

– Ты можешь ошибаться.

Татьяна мотнула головой и закусила прядь волос. Пожевав, выплюнула мокрую и измоченную.

– Нет. Ошибаться не могу. И доказать не могу. Ничего не могу. И Оля умерла. Она Оле волосы расчесывала... а теперь мне расчесывает. Значит, я тоже скоро умру.

Два факта не имели прямой связи. Но вряд ли девушка восприняла бы это в качестве аргумента.

– Скажи кому-нибудь.

– Говорю. Тебе. А ты не слушаешь. Тебе ведь все равно, так? И тому, который из милиции, тоже все равно. А знаешь почему?

– Почему?

– Потому что она привыкла покупать все самое лучшее. И яд тоже. Его не найти... а нет яда – нет отравления. И нет убийства. И... и, я пойду, да? – спросила она. И ты кивнул, радуясь, что этот разговор закончен.

Вот только запах чайных роз долго еще тревожил покой твоего мертвого царства.

На следующий день ты поднялся в зал, и из-за прозрачной перегородки наблюдал за родственниками. Татьяна в черном наряде была строга и не похожа на себя вчерашнюю. Как непохожа и на женщину с изможденным лицом. Правда, из-под вуали ты видел лишь острый подбородок и узкие губы, которые вяло шевелились, повторяя молитву. Но и по ним, а еще по напряженной шее и рукам понял – на пределе.

Вот жметесь в тень еще одна женщина в черной блузе и широкой, колоколом, юбке. На волосах ее лежал черный платок, а в руках были гвоздички, перетянутые траурной ленточкой. Рядом стоял мужчина. Он был плотен, одышлив. Явно с больным сердцем и, пожалуй, печенью. Потел и тер лоб клетчатым платком. Родственник? Если так, то дальний. За ним сонно переминался с ноги на ногу долговязый юноша в костюме с чужого плеча, и девица чуть постарше Татьяны. Этой явно было скучно. Она то и дело поглядывала на часы, а желваки по лицу ходили, выдавая желание зевнуть во всю пасть.

Тебя подобное неуважение злило. Но ты смотрел на остальных, сам не понимая, чем тебя вдруг заинтересовали эти похороны.

Дальше все обыкновенно. Речи. Слезы – громко рыдала женщина с гвоздиками. Прощание. Первой к гробу подошла дама в шляпке, за ней – Татьяна и суетливым стадом подтянулись остальные. И ты ушел, не дождавшись завершения. Ты знал, как оно будет: Аннушка нажимает на рычаг и гроб вползает в открытую пасть печи. Сомкнуться заслонки-губы, загремит «Реквием», заглушая скрип лебедок и рев пламени. И родичи спустятся на первый этаж. Там уже накрыт поминальный стол, скорбными теньями скользят официанты, и ждет своего слова священник.

Его ты выбирал тщательно и, как Янка считает, цинично. Наверное, она права.

Она во всем права.

– Что я мог сделать? – Адам все-таки решился повернуться к Татьяне. – Скажи, что? Обратиться в милицию? С чем? С твоим рассказом? Да если хочешь знать, такое постоянно рассказывают! Знаешь, почему? А потому что верить не хотят!

Татьяна улыбалась, и на выжженном светом лице эта улыбка казалась издевательской.

– Никто не хочет верить в то, что смерть просто случается. Что вчера заснул, а сегодня уже не проснулся... когда убили – можно обвинить. Можно ненавидеть. И не так больно. А вот когда сам, то... – Адам швырнул о стену кружку. Алюминиевая, она лишь звякнула и отскочила.

Тоже Янка купить посоветовала, когда он в очередной раз порезался.

– И даже теперь... что я теперь сделаю? Ничего! Нет, сделаю. То, что должен. То, за что заплатили.

На глаза попало белое платье с искусственными розами. Тане бы не понравилось, но теперь нет того, кто принес бы нужную одежду.

– Я опять сошел с ума, – сказал Адам, загребая горсть волос. Дернул. Стало больно, но не стало легче. А раньше помогало. И Янка смеялась, говоря, что так он облысеет.

– Я опять сошел с ума! Из-за тебя, слышишь?

Татьяна продолжала улыбаться, но спокойно: она добила своего.

Мертвецы, они такие, всегда своего добиваются.

Ящик с инструментами был рад избавиться от пыли. Адам сменил халат. Надел перчатки. Маску. Потянулся было к диктофону, все еще лежавшему в специальной ячейке, но передумал. Хватит и того, который на мобильнике.

– Татьяна Павловна Красникина. Четырнадцать лет... – голос сбился, и Адам остановил запись, пытаясь отдышаться.

До десяти считать. Медленно. Как Янка учила. А потом от десяти. И на каждый счет сгибать и разгибать палец. Заодно есть время передумать и бросить все...

Татьяна Павловна Красникина нахмурилась. Кажется. Всего-навсего кажется. Он ведь сумасшедший. И галлюцинации – дело нормальное.

– Телосложение нормостеническое, пониженного питания. Длина тела... около ста пятидесяти трех сантиметров. Кожные покровы бледно-желтоватые, холодные на ощупь. Трупных пятен не наблюдается. Мышечное окоченение почти полностью отсутствует во всех группах мышц.

С каждым словом говорить становилось все легче.

– Кости свода и лицевого отдела черепа на ощупь неподвижны, без деформаций, целы. Волосы на голове светло-русые, длиной до пятидесяти сантиметров. Глаза прикрыты веками. Роговицы прозрачные, темно-карего оттенка.

Пришлось сделать паузу. Две кнопки: стереть и продолжить. Продолжить.

– Глазные яблоки упругие. Зрачки расширены до полусантиметра. Наблюдается незначительный экзофтальм... – здесь Адам снова остановился, но уже для того, чтобы внимательнее изучить находку, и спустя несколько секунд добавил к записи: – Сосуды слизистых оболочек век с мелкоточечными темно-красными кровоизлияниями. Выделений из рта, носа и ушей нет.

Пожалуй, она даже слишком чистая.

И пахнет... конечно! Запах! Цветочное мыло, словно... словно ее после смерти уже искупали. Зачем? А главное, когда? И почему тот, который был до Адама – а он был, и следы его рук – черный шрам на груди, схваченный крупными стежками – не обратил внимания на запах? Или обратил, но...

Янка считает, что Адам параноик. Но на сей раз подозрения его имели все шансы оправдаться.

– Извини, – сказал он Татьяне, берясь за ножницы. Нитки, стягивавшие шов, разлетелись на раз, выставляя потемневшее нутро.

Работать будет сложно, но Адам справится.

Он ведь лучший. Во всяком случае, когда-то считался лучшим.

Мэри кидала камушки. Она специально часа два ходила по берегу, выбирая плоские и гладкие, а теперь, забравшись на насыпь, кидала. Камушки пружинисто скакали по сизой поверхности воды, а после беззвучно и обреченно уходили на дно.

Небо развесило тучи, словно мамка грязное белье. И в прорехи их выглядывало солнце, тусклое, как старая лампа на лестничной площадке.

Скучно.

Мэри вздохнула и посмотрела на часы. Еще сорок минут. Она с ума сойдет от тоски. Или утопится. Точно. Как камушек. С разбегу кинется в воду, пролетит несколько шагов, взбывая брызги толстыми подошвами «гриндерсов», а после бах – и нету...

Облака-простыни дернулись, хлопнули влажно и потекли на землю холодной водой. Ну вот, теперь и прическе конец. А Мэри на то, чтобы волосы дыбом поставить, полтора флакона лака извела, не говоря уже о времени.

Полчаса.

Под навесом сухо. Дождь нудит, как училка, выговаривающая за очередной прогул. Вздрагивают листья корявой березы, а капли в песок уходят. Только черноты становится больше. И все равно тоска...

Двадцать минут. Дождь усиливается. Гудит ветер, высвистывая на трубах теплоцентрали городскую мелодию. Уставшая береза сыплет листья, прикрывая корни от хлестких ударов.

Десять... Если он опоздает, Мэри сделает то, что обещала. Она всегда делает то, что обещала. Мэри – человек принципов.

Пять.

На циферблате сверкают камни, а вот браслетик, наоборот, простенький, заполированный до тусклого блеска, но неприметный.

Он вынырнул из мутной пелены, отряхивая капли с волос, и сказал:

– Привет.

– И тебе привет, – ответила Мэри, изо всех сил стараясь не улыбаться. Какой же он все-таки красивый! Обалдеть просто. Особенно вот так, близко. Близко она к нему еще не подходила... и теперь вдруг оробела. Мэри тысячу раз представляла, как это будет: они встре-

тятся. Мэри заглянет в его глаза, и он поймет, что именно Мэри и никто другой – его истинная любовь.

На всю жизнь и даже больше.

Глаза бледные, с темным ободком по краю роговицы, а зрачки – черными каплями. Как камушки на воде.

– Значит, это ты была?

– Я.

Он разговаривает с ней! Смотрит на нее! И, верно чувствует то же, что и Мэри – сладко замерло сердце, а руки вспотели.

– И чего ты хочешь?

– Я? Я хочу быть с тобой.

– Чего? – его удивление непонятно и злит. Это ведь так просто: быть вместе.

– С тобой, – повторила Мэри, поглаживая браслет. – Быть. Навсегда. Я тебя люблю... ты не думай, что это глупость. Я действительно тебя люблю! С первого взгляда. Ты пришел, и я сразу поняла, что... мы предназначены друг для друга!

– Кем?

– Судьбой! Миром! – она вдруг поняла, что слова закончились, что рассказать о собственном мучении, о зависти, которую она испытывала, глядя на Таньку Красникину, не сможет. Как и об унижительном желании стать Красникиной. Или хотя бы немного на нее похожей.

– Послушай... как тебя звать-то?

– Мэри... Мария.

– Маша.

– Мэри! – даже ради него Мэри не согласиться изуродовать имя. Хватит, ее и так всю жизнь уродовали, пихали в какие-то рамки, обтесывали по тупому образцу идеальной девчонки. Маша – туповатая, добрая и готовая всем помогать. А Мэри – хитра и цинична.

Совсем разные люди. Как можно не понимать?

И он понял. Сел рядом. Достав портсигар, протянул Мэри. Она взяла. Сигареты внутри забавные, тоненькие и коричневые. Пахнут корицей.

– Послушай, Мэри, – он отворачивается и смотрит на реку. И Мэри смотрит, пытаясь уловить то, что видно ему. Узкая лента в бетонном желобе русла. Песчаные берега. Дождь. Грязные ручьи и грязные же листья, которые не тонут, хотя должны бы. – Ты хорошая девчонка...

Конечно. Красникина была дурой. Красивой, отлакированной дурой. И он не мог не видеть ее тупости.

– ...но я люблю Таню.

Сволочь!

– Неправда.

– Правда.

– Нет! Я знаю! Я видела! Да, я все видела! И я...

– Ты ничего не видела, – он хватается за руку и выкручивает. Больно! – Сядь. Слушай. Ты следила за мной? И за ней?

Да! Следила! И что с того? Это унижительно, но любовь не знает унижений!

– Ты следила за нами, – он заставляет Мэри сесть. Говорит спокойно, равнодушно даже. – Ты видела, как мы поссорились. Я был неправ. Теперь я понимаю, что был неправ. Таня очень переживала из-за Оленьки. А я не понимал. Мне казалось, что это ненормально так переживать, будто она сходит с ума или уже сошла, но... теперь я схожу с ума. Я тебя отпущу, но обещаю выслушать.

Мэри кивнула и, когда он разжал руку – на запястье остался широкий красный след, – спросила:

– Зачем ты ее убил?

– Я?

– Ты. Вы поссорились. Я слышала. Ты ушел. А потом вернулся. Ты заставил ее что-то выпить. Угрожал, что если она не выпьет, то между вами – все. Она согласилась. Выпила. А на следующий день умерла.

– Это было успокоительное! Я хотел, чтобы она наконец заснула!

Оправдывается. Кричит. Пускай. Он причинил Мэри боль после того, как Мэри призналась в своей любви; рискнула прийти на встречу с убийцей? Сама готова была пойти на преступление ради него? И вот после всего этого он ее отверг?

Маша бы плакала в подушку, а Мэри отомстит. И будет хохотать, глядя на его мучения. А потом, уже после суда, подойдет и, заглянув в глаза, скажет:

– А все могло быть иначе!

– Что? – спросил он, вырывая из мечты.

– Ничего. Ты ее убил. Если успокоительное, то зачем ты так старательно мыл стакан? Дважды или трижды. А потом еще салфеткой протер. Чтобы отпечатков не осталось, да?

Мэри знала, что права, и ей приятно было видеть страх на его лице.

– И часики... красивые, правда? – она подняла рукав, демонстрируя находку. – А она их выбросила. Зачем? Ты подарил, а Танька взяла и...

– Отдай.

– Не-а. Я их нашла. Теперь они мои.

– Нет.

Упрямый. И пускай. Мэри тоже упряма. Он растоптал ее сердце, и значит, сам навлек на себя будущие беды.

– Ты ей был не нужен! Никто не нужен! И вообще она ненормальная! А еще гребень украла! Мой гребень!

Он не позволил договорить. Вскочив, схватил за горло. Сдавил преболно, и Мэри, потерявшись, забилась в его руках. Она дергалась, пытаясь разжать пальцы, и хрипела.

Когда затихла, почти потеряв сознание, он отпустил. Выбросил из-под навеса на дождь и, наклонившись, снял часики. Постоял – Мэри видела его силуэт в мареве дождя. Носком ботинка повернул голову на бок и громко, чтобы наверняка услышала, сказал:

– Будешь про меня и Таньку гадости говорить, прибью. Поняла?

Мэри поняла. Мэри ушла, выпуская Машу, и уже Маша плакала, мешая слезы с дождем. А он ушел. Влажно чавкали по грязи ботинки. Звук стихал, а после и вовсе исчез. Маша кое-как поднялась. Саднило горло. С мокрых, слипшихся прядей стекала вода, прямо за шиворот. И джинсы тоже промокли. И трусики. И вся она, от носа до пяток.

Мама рассердится.

И подружка ее обругает за попорченную блузку. И все это несправедливо! Нельзя любить без взаимности! Нельзя поступать так с теми, кто любит!

Маша, взбравшись на насыпь, с которой кидала камушки, села. Она сняла куртку, пальцами разодрала влажные пряди – чертов лак склеил намертво – и набрав в ладонь воды, плеснула на лицо. Потом просто сидела, позволяя дождю смывать грязь, и смотрела на реку.

Не слышала.

Когда дождь шумит, то ничего не слышно.

И теней почти нет. В какой-то миг стало очень больно – не сердцу, но отчего-то затылку – и Маша растерялась. А потом умерла.

И умерев, не видела, как убийца садится рядом и начинает расчесывать волосы. Старинный гребень застревает в склеенных лаком прядях, и убийца сердится, дергает, выдирая пряди. Подхваченная пальцем капля крови размазывается по длинным зубьям гребня. А сам он исчезает в пластиковом пакете.

Спустя четверть часа дождь смывает все следы.

Алина сидела перед зеркалом, придирчиво изучая свое отражение. Определенно, следовало согласиться на предложения доктора Манихова. Ботокс почти не помогает. Морщины на лбу отвратительны, линии щек утратили выразительность, а подбородок поплыл, намечая складочку.

Зато шея хороша.

И руки тоже.

Грудь вот не мешало бы поднять, но только поднять – никаких имплантатов. Живот плоский, мускулистый, но умеренно.

Алина знала, как важна умеренность.

А с ягодицами беда. Всегда были слабым местом. Пышные, но невыразительные, они охотно принимали лишние килограммы. И с бедрами делились. Но липосакция... Алина сомневалась.

В дверь постучали. Поспешно набросив халат, Алина крикнула:

– Войдите.

Анечка. Вошла боком, замерла на пороге, потупив глазки. Умная девочка, но порой переигрывает.

– А Сережи дома нет, – шепотом сказала она. – Ушел, и все. Я ему говорила, что теперь мы должны держаться вместе, а он ушел...

– Милая, ябедничать на брата – некрасиво.

На Анечкином личике мелькнуло раздражение. Неужели и вправду думала, что сумеет провести Алину? Мала еще.

– И где он? Ну ты же знаешь. Если бы не знала, не пришла бы.

– На свиданке. Вот прикинь, запалят его, и завтра во всех газетенках появится про то, что вместо траура он трахается.

Анечка нарочно язык коверкает, знает, что это Алину злит. И в чем-то она, конечно, права, но отнюдь Алина газет не боится.. Газеты напишут то, что она велит. Она заплатила.

– Чего ты на самом деле хочешь? – Алина, поплотнее запахнув халат, осмотрела племянницу. Молода. Хороша. Знает, насколько хороша, и думает, что за это ей все простится. Ей бы не племянницей – дочерью быть. Нет в Анечке ни уныния Галины, ни Витольдового шутавского куражу. Да и внешность иная.

Подгуляла сестричка, как есть подгуляла.

Анечка, присев на край банкетки, сложила руки на коленях. Глянула снизу вверх, ресничками захлопала. Того и гляди заплачет крокодильими слезками.

– Тетенька, милая, ну скажи, ты взаправду Сережку в Англию ушлешь?

Вот оно что. Алина с трудом подавила нервный смешок.

– Я думаю. Возможно. Он перспективный мальчик.

– А я? Как же я, тетенька? Я не перспективная? – крупная слеза, сорвавшись с ресниц, прокатилась по бархатной щечке. – Я тоже хочу учиться! В Англии!

...где полно диких миллионеров, которые спят и видят, как бы облагодетельствовать Анечку предложением руки и сердца, а заодно бросить к ее ножкам – хороши, бесспорно – все нажитые непосильным трудом миллионы.

А лучше миллиарды.

Все-таки Анечка не умна – хитровата, но отнюдь не умна.

– Ты останешься с родителями, – сухо ответила Алина, поворачиваясь к зеркалу.

– Тетечка, миленькая, ну это же несправедливо! Почему ему – все, а мне ничего? – Анечка, сложив ладошки, прижала их к острому подбородку. – Ну скажи папочке... он не будет против! Честно-честно!

Еще бы Анечка небось, уже переговорила с Витольдом, и тот, желая поскорей отделаться от назойливой доченьки, согласился. А Галина вообще спит и видит, как бы поудобнее пристроить чадушко.

– Нет.

– Н-но... но почему? У тебя же есть деньги! Есть!

– Не кричи.

– Буду! – Анечка, запрокинув голову, завизжала, затопала ногами. Алина некоторое время слушала, раздумывая о том, что лучше бы померла эта истеричка, чем Танюша, потом поднялась и отвесила хлесткую пощечину, приказав:

– Заткнись.

Анечка заткнулась, лишь всхлипнула громко. И щечку свою припухшую погладила.

– Ты считаешь себя умной. Самой умной, если начистоту. Ты считаешь себя красивой. Самой красивой. Нет, не перебивай. Тебе кажется, что стоит попасть в свет, и этот свет падет к твоим ногам. Такого не будет. Нет! Не смей перебивать.

Анечка послушно захлопнула ротик. Видит Бог, Алина устала от своей родни. С возрастом старые долги становились обременительными до невозможности.

– На самом деле ты – писюха.

– Кто?

– Писюха. Малолетка. Хорошенькая, но не более того. Склонная к истерии. Стервозненькая, но мелочно, поскольку у настоящей стервы должны быть мозги. А у тебя они напрочь отсутствуют. Молчать!

Анечка пискнула. Лицо ее полыхало багрянцем, но вряд ли это – признак стыда. Скорее уж Анечка злится. Ничего, сейчас разозлится еще сильнее.

– Ты не умеешь себя вести. Более того, в твою головку даже мысли такой не зародится, что ты не умеешь себя вести. Ты хабалка. Точно такая же, как твои одноклассницы, которых ты презираешь. Ты просто одета чуть лучше и хочешь чуть большего, а в остальном разницы никакой.

– Я...

– Ты замолчишь и выйдешь из комнаты. И больше никогда не станешь заводить этот разговор. Тебе пятнадцать всего. Какая Англия? Повзрослей и поверь: я знаю, что лучше для тебя.

– А я знаю, что ты убила Таньку! – прошипела Анечка, облизывая губки.

– Что ты сказала?

– Что слышала. Думаешь, ты самая умная, да? Или самая хитрая? Нет, тетечка, не самая... и все, что ты тут сказала – это от зависти. Ты стареешь, тетечка. И ботокс не помогает, верно? И небось подумываешь о том, чтоб под ножик лечь, подкорректировать грамотно остатки былой роскоши...

Глаза Анечки полыхали праведным гневом и злостью. Глупенькая. Нашла слабое место, а ударить не сумела. Алина про себя все знает. В этом главный секрет – знать про себя. И если быть честной, совсем честной, то слабость станет силой.

– А я настоящая! Молодая! Красивая! У меня вся жизнь впереди, а ты хочешь, чтобы я тут с вами подыхала. Да мне душно! И тошно! Я свободы хочу!

– Хочешь – бери.

Алина провела щеткой по волосам. Жесткие. Но покрашены хорошо, блестят, переливаются... а раньше свои так переливались.

– Разве я мешаю тебе быть свободной? Ты хочешь в Англию? Пожалуйста. Оформляй документы. Поступай. Желательно, чтобы сразу со стипендией. А нет – подыскивай работу.

Анечка вцепилась в халатик, дернула, почти срывая с плеч.

– Ты что, не слышала? Я знаю, что ты убила Таньку! И как убила!

– Неужели?

– И ты... ты будешь делать так, как я скажу! Или сядешь. А если ты сядешь, то все денежки перейдут мамочке. Мамочка меня любит. Меня, а не Сережку!

Как скучно и предсказуемо. И ведь правда же. Сергея Галине любить не за что. Алина, отцепив пальчики Анечки от ворота халата, мягко произнесла:

– Пожалуй, этот вариант для тебя был бы более выгоден.

– Конечно, тетенька. Но мы ведь родственники. А родственники должны помогать друг другу. И любить друг друга. Я тебя очень сильно люблю. И я не хочу, чтобы ты села. Поэтому, если ты будешь меня слушаться, то...

– То?

– То все у нас получится. Правда-правда...

В крохотной комнатке успело накопиться изрядно пыли, и Адам чихнул, дав себе слово сегодня же поговорить с уборщицей. Если он редко поднимается в наблюдательскую, то это еще не повод здесь не убираться.

К счастью, время еще было, а в шкафчике обнаружилась стопка отсыревших полотенец, которые Адам использовал вместо тряпки. Одна из стен комнаты была стеклянной. Собственно говоря, она и стеной-то не являлась – перегородка, прозрачная с одной стороны и черно-лаковая – с другой. Окаймленная пилястрами, украшенная мертвенно-бледными светильниками в виде лилий, она нравилась посетителям. А вот посетители редко нравились Адаму. Хотя, конечно, они не догадывались, что за ними наблюдают.

Яночка называла его извращенцем. И говорила, что только сумасшедший может получать удовольствие, наблюдая за похоронами. А он отнекивался, пытался рассказать о смерти и о жизни, о дуализме бытия и культурных традициях, которые есть прошлое, в настоящем отраженное.

Яночка смеялась.

Скрипнула дверь и в щели показалась виноватая физия Нелочки.

– Ой, Адам Сергеевич, вы уже... я думала, что вы позже... и вот... – Нелочка перетащила через порожек красную тушу пылесоса. – Я скоренько, а вы...

– Потом.

Ему не хотелось уходить. Он тяжело привыкал к смене обстановки, пусть и менять приходилось лишь комнату. И он успел обжиться, приведя эту временную нору в порядок. Нелочка, подобрав разбросанные полотенца, сунула их в черный пакет и шепотом поинтересовалась:

– Вам, может, принести чего?

Сначала Адам хотел отказаться, но в животе заурчало, напоминая, что ночью он не только не спал, но и не ел. И слюна, наполнившая рот, сделала слова вязкими:

– Будьте добры – чаю. И бутербродов каких-нибудь. Лучше, если с мясом.

Сунул руку в бумажник, вытащил купюру, не глядя, и вложил в мокрую Нелочкину руку. Боится. Все здесь его бояться и психом называют уже не в шутку. А и плевать.

– Уже пришли?

Нелочка затрясла головой, и рыжие кудряшки, выбившиеся из-под черного платка, заскакали. Надо будет сказать, чтобы перекрасилась. Рыжий – неподходящий цвет.

Пусть уж заодно и сатрапом считают.

Безумный диктатор, единоличный владыка вся похоронного бюро... смешно. Только смеяться Адам давно разучился.

Он просто сидел, разглядывая зал. Потом пил чай. Жевал бутерброды, принесенные уже не Нелочкой, но Ольгой. Она еще долго вертелась, пытаясь выпрашивать, а после просто стояла, поворачиваясь то одним боком, то другим. У Ольги была красивая грудь. И ноги тоже,

особенно щиколотки. Чтобы подчеркнуть их Ольга носила туфли на высоких каблуках, и Адам, глядя на нее, удивлялся, как она не падает.

– Вы не выйдете? – поинтересовалась Ольга, накручивая на палец локон. – Красникина про вас спрашивала.

– Когда?

Про Адама никто никогда не спрашивал. Наоборот, о его существовании принято забывать. Все боятся смерти. Яночка – исключение.

– Утром. В восемь позвонила, спросила, будете ли вы. Я сказала, что не знаю. А если опять спросит, то чего сказать?

– Ничего, – Адам слизал с пальцев майонез, пожалев, что бутерброды закончились. И чай тоже. – Или скажи, что я устал.

Он и вправду устал. И вялое тело, наполняясь сытостью, становилось еще более вялым. Поспать бы. Во сне хорошо думается. Но скоро приедут. Всегда приезжают чуть раньше, словно торопясь поскорее закончить неприятное дело.

– А если...

– Я устал, – повторил Адам, прикрывая веки. Тонкая полоска света все же пробивалась, раздражая и мешая полностью отключиться. Хорошо. Нельзя отключаться. Он должен смотреть. И думать. И еще что-нибудь решить, хотя решать не хочет.

Ольга не уходит. У нее духи резкие.

Ольга хочет с ним переспать. Не потому что Адам ей нравится, но потому, что он – хозяин и перспективная партия. А она достаточно устала от любви, чтобы хотеть иного.

Ольгу жаль. Себя тоже. В этом совершенно нет смысла.

– Иди, – сказал он. – Уже скоро.

Оставшееся время пролетает быстро. Вот Ольга ходит по залу, старательно поправляя цветочные композиции, которые не нужно поправлять. Затем столь же тщательно и бессмысленно разглаживает складки на шелковом покрывале, на котором стоит гроб. Самого гроба сторонится.

Ольга не любит мертвецов. И Адам ей отвратителен, но лишь самую малость, ведь, кроме него, у нее нет перспектив. Адам сам слышал, как она говорила об этом со Светочкой. А Светочка охала, ахала и посоветовала напоить и затащить его в постель. И они долго обсуждали этот безумный план.

Вот захрипел, откашлявшись, динамик. Выплюнул первые ноты в пустоту и, окрепнув голосом, заиграл *Requiem aeteram doa eis, Domie*.

– Я не хочу в это ввязываться, – сказал Адам, разглядывая собственные руки. Белые и гладкие. Сухие. Пахнут формалином и эфиром. И еще немного сосновой смолой, но эта нота слишком незначительна.

– Я ничего не смогу изменить.

Виски ломило от бессонницы. И скрипнувшая дверь ударила по нервам.

– И ничего не смогу доказать. Я ведь ненормальный... И какая теперь разница, а?

Ледяная ладошка коснулась шеи, пальцы скользнули в волосы, приподнимая от корней. Дернули. Отпустили.

– Ты ведь не отстанешь от меня, да? Я не гений. Гениальность – иррациональное понятие. Я просто кое-что увидел. И это странно. А еще я знаю, что тот, кто был до меня, тоже это видел. И если промолчал...

Женщину в узком черном платье Адам сразу узнал. Сейчас платье было другим, а шляпка с вуалью исчезла. Гладко зачесанные волосы делали женщину строже и старше.

Пожалуй, красива, но красота ее увядает. Женщина это знает: Адам видел.

– ...значит, ему заплатили. И думаю, что заплатили не только ему. Тут появляюсь я. Что будет? Очередное принудительное освидетельствование. А ты знаешь, как просто сделать человека психом...

Руки переместились на шею. Они ласкали кожу, забираясь под воротник, и трогали мочки ушей. И Адам закрыл глаза, наслаждаясь лаской.

– ...особенно, когда однажды уже было доказано, что он не нормален.

Толстяк в прежнем наряде. Рыдающая дама с гвоздиками. Она похожа на первую, строгую, но копия несовершенна. Парень. Девушка.

– И твоя сестра снова отправит меня в больницу. Я боюсь. Я не хочу снова оказаться там. Голос утонул в пыли. И Адам, уронив голову на ладони, затих.

Анечка никогда не любила похорон. Не потому что страшно там или противно, нет. Скучно. Стоишь, палишь, строишь скорбную мину, хотя на самом-то деле пофигу тебе и покойничек, и родня его. И родне самой – тоже пофиг. И выходит, что все собираются только потому, что так принято.

Но сегодня Анечка вскочила рано. Долго собиралась. Дважды меняла платье – первое морщило на животе, второе – на бедрах. Трижды красилась, всякий раз чуть ярче.

Так, чтобы тетечка заметила и разозлилась.

Она заметила. Приподняла бровку, но сказать – ничегошеньки не сказала. И правильно. Теперь-то ей и осталось, что молчать да слушать. И сама виноватая. Нечего было Таньку травить.

Нет, конечно, Танька той еще цапой была. Вечно кривилась да пальцы гнула. Мол, она богатенькая и вся из себя расчудесная, а Анечка и Серега – бедные родственнички. Ну и где она теперь со своим богатством? В гробике лежит!

То-то и оно.

– Ты выглядишь недопустимо, – сказала тетечка, когда сели в машину. И мамуля, вот клуша, тотчас запричитала:

– Анечка, миленькая, ну что же ты...

А ничего. Подумаешь. Как будто кому-то тут до Анечки дело есть.

– ...нельзя ж на похороны так... чего о нас люди подумают? Витольд, скажи ей!

– Анна, умойся.

– Не хочу.

Папуле, как всегда, хватило. Хрюкнул, губы поджал и уставился на дорогу. Какой он все-таки... и мамуля тоже. Иногда Анечке начинало казаться, что давным-давно в единственном роддоме городка Матюхово произошла ошибка: врачи перепутали младенцев. Ведь бывает же так? Конечно! Об этом еще и по телику говорили...

У мамули нос картошкой. У папули подбородок круглый и вдавленный, а шея короткая. Он вообще на бегемота похож. Ну и на свинью, конечно, правда, только когда ест. Хотя ест он постоянно.

Вот тетечка – другое дело. И Серега, конечно. Правда, тут радости мало...

Ничего. Все исправится. Все будет замечательно!

– Тебе смешно? – Серега, сидевший рядышком, ткнул локтем в бок. – Смешно, да? Танька умерла и...

– И что? Думаешь, я по ней плакать стану?

Лицемер. Сейчас состроит скорбную мину, а то и слезу выдавит. Мамуля расчувствуется, папуля тоже, а тетечка скажет, что с Сереги надо пример брать.

Ха! Кому как не Анечке про него правду знать? Где он вчера был? То-то же! Когда б это правда была о его неземной любви к Таньке, тогда б он с другой на свиданку не бегал бы...

– А я знаю, что ты Таньку не любил, – прошептала Анечка, и Серега дернулся. Страшно? Правильно. Пусть боится. – И что с Машкой на свиданку бегал...

– Если ты кому-нибудь...

– Никому. Если ты тетечке скажешь, что я тоже должна поехать.

Конечно, он может и не говорить, все равно по-Анечкиному выйдет.

– Значит, вот ради чего все? – Серега больно сжал руку и прошипел: – Не дергайся.

Анечка и не собиралась. Не боялась она его, вот ни капельки. Это он с виду крутой да грозный, а на самом деле – рохля и мямля.

– Сереженька, мне больно, – Анечка хлопнула ресницами, раздумывая, не выдавить ли слезу. Но вовремя вспомнила про макияж и просто отцепила Серегины пальцы. Подвинулась ближе к брату и на ухо прошептала: – Сереженька, если ты не сделаешь, как говорю, то...

– То что?

– То я все расскажу тетеньке. Как ты думаешь, она обрадуется? Она ведь так тебя лю-лю-любит... Нельзя разочаровывать тех, кто тебя любит.

Он выпятил губу и задышал часто и мелко. И подбородок выпятил. Смешной. Все смешные. Строят из себя невесть что, а правды в этом ни на грош.

– Дети, – строго сказала мамуля, отрываясь от чтения газетенки: – ведите себя прилично. Помните – мы на похоронах и Танечка была членом нашей семьи. Мы любили Танечку.

Вот уж чужь!

– Любили, – эхом отозвался папуля, облизывая губы. На широкой щетке усов заблестела слюна. Надо будет ему шепнуть, что усы теперь не модно. Хотя папеньке на моду плевать. Он про моду вообще не думает. И ни про что не думает.

Тяжело с ними.

Машина остановилась. Вышли. Небо хмурое, но хоть дождя нету. Правда, шофер все равно выскочил, услужливо распахивая над мамулей черное колесо зонта. А Анечку словно и не заметил.

Кто такая Анечка? Никто. Пока никто.

А местечко тут знатное, качественное. Анечке еще в прошлый раз приглянулось. Ограда высокая, чугунная, растянулась черным кружевом, отделяя мир живых от мира мертвых. Дорожки из седого камня пробирались меж зеленых, несмотря на ноябрь месяц, клумб. И стыдливо прятался за строем кленов кирпично-красный колумбарий.

Внутри красиво. Стильненько. И статуи эти из мрамора очень к месту смотрятся, особенно печальный ангелочек, который на лестнице сидит и словно бы смотрит на всех входящих. Когда Ольку хоронили, Анечка нарочно от процессии отстала и ангелочка пощупала, до того он показался ей живым.

Холодный. Каменный. Скользящий от дождя.

Мерзость.

Но сегодня шли прямо, к строгому кубу крематория. Труба его подпирала небо, и Анечка представила, как совсем скоро из нее вылетит дым, который был Танькой.

Так ей и надо!

Черные двери в мраморной рамке барельефа распахнулись. Анечка шла по узкому коридору, с бледно-лиловых стен которого на нее взирали маски. Их набралось с полсотни почти. Женщины и мужчины, старые и не очень, и даже две детских, младенческих было.

– Глянь, – Серега ущипнул за бок, указывая куда-то на стену. Анечка посмотрела и совсем растерялась: на стене висела Олька. Нет, ну конечно, не сама, всего лишь маска, но выполненная с такой тщательностью, что прям мурашки по коже побежали!

– Круто! – сказал Серега, и папуля громко кашлянул, приказывая заткнуться. И мамуля глянула косо. А у самой-то из сумочки яркий хвост газеты выглядывает.

Распорядительница, моложавая блондинка, встретила на пороге главной залы. Ухоженная физия ее была профессионально печальна, а сложенные молитвенно руки едва заметно подрагивали. Пьет? Колется? Не мудрено. В таком-то местечке работая.

– Добрый день. Мне бы хотелось поговорить с Адамом, – едкий тетечкин голос терялся в пространстве зала, да и сама она выглядела незначительной и, по ходу, была не в восторге от таких антуражей.

– К сожалению, господина Тынина нет на месте, но...

Тетечка взмахнула рукой, и распорядительница – Ольга, ее зовут Ольга – заткнулась, как дрессированная.

– Когда он будет?

– Не имею чести знать.

Врет. Анечка уже достаточно поднаторела в поисках вранья и теперь запросто видела его. Вот набеленный висок прорезали трещинки, а губа чуть приподнялась. Взгляд прямой, наглый, но руки дрожат сильнее прежнего.

– Мне кажется, мы достаточно заплатили господину Тынину, чтобы он проявил толику уважения к нашей семье.

Ха. Тетечка терпеть не могла, когда ее не уважали. И достанется этому Тынину, который никакой вовсе и не господин, а обыкновенный гробовщик. Он Таньку обряжал и разрисовывал, хотя смысла в этом действии было еще меньше, чем в похоронах.

Зачем, если все равно сгорит?

– Поверьте, – мягко сказала Ольга, поднимая все еще сцепленные руки. И длинные средние пальцы уперлись в подбородок. – Господин Тынин безмерно уважает вас. Ему более чем кому-либо известна глубина горя, постигшего вашу семью.

Запела, канарейка. Скучно. Сейчас будут кидаться словами, как теннисным мячиком, и тетечка эту крашеную все равно переиграет, потому как она скорее сдохнет, чем прислуге уступит. Но пока играют, придется стоять, слушать. А туфли жмут. И чулок, кажись, съезжает. Точно съезжает.

Может, в туалет выйти? Похороны похоронами, но против природы не попрешь! И Анечка, обрадовавшись найденному предлогу, двинулась к выходу из залы. Мамулю, загоротившую было проход, обманула скорбной рожей и стоном. Папуля, тот вообще внимания не обратил. Вытянув шею, он жадно вслушивался в свару.

Тьфу, уроды.

Выбравшись в коридор, Анечка перевела дух. Осмотрелась. Погрозила маскам пальцем, потом скорчила рожу. Они остались неподвижны.

Этот их Тынин – полный извращенец, если лепит их с натуральных жмуров. Запоздало подумалось, что Танька тоже повиснет на стене. Наверное, рядом с Ольгой. Или на противоположной? Будут глядеть друг на друга, ухмыляться...

Жуть.

И скука. Хоть и вправду в туалет иди. Анечка и пошла, благо нужная комната обнаружилась за углом. Три кабинки. Два зеркала в полный рост. Сияние фаянса и плитки, тоже черной. Анечку уже мутить начинает от этого цвета.

Завтра же она наденет ярко-красное платье! Просто так, ну и назло, конечно.

Присев на унитаз – к счастью, нормальный, белый – Анечка зевнула. Сосчитала от одного до ста, потом от ста до одного, запнувшись на пятидесяти девяти, и уже решила было встать, когда наружная дверь громко хлопнула.

– ...а я тебе говорю, мертвый номер! – женский голос свистел и шипел. – Он всю ночь в морге провозился! Ну да... и что? Я знаю, что он псих, а ты знаешь, что психи последовательны. Тынин раньше не клонул и теперь не клонет!

Анечка слушала, затаив дыхание. Плевать ей было на Тынина, который хоть и господин, но псих – а то не видно! – но чужие тайны заворачивали.

– Да я пыталась... по-всякому пыталась. А он ни в какую. Да нет, не педик. Импотент. В клинике небось обкалывали, вот теперь и не стоит... что значит, постарайся? Я стараюсь! Вот сам приезжай и старайся, если тебе так надо! Да! А меня достало все! Господи, да меня тошнит от этого местечка! Сейчас еще дура одна приперлась, скандал устроила. Вынь да положи ей Тынина! Я ей говорю, что он с живыми не разговаривает. А самое смешное, что этот урод забрался в свою нору и следит оттуда!

Анечка громко спустила воду, и женщина, всхлипнув, заткнулась. Юркнула в кабинку, пытаюсь спрятаться... глупые люди. Ну зачем разговаривать там, где легко подслушать?

Когда Анечка наконец вернулась в залу, то обнаружила, что церемония уже началась.

Интересно, а где здесь нора «этого уroda»?

– Не вертись, – шикнула мамуля и картинно захлопала носом.

– Спаси и помилуй, мя грешного... спаси и помилуй... спаси...

В спину стрельнуло, и Степушка глухо застонал, но поклон, последний из отведенных на сегодня, положил. Лоб почти коснулся холодного пола, щеки лизнуло распаленным свечами воздухом, а затылок обожгло взглядом.

Суров ныне Спаситель, знает, что крепко грешен Степушка. Слаба, ох слаба, натура человеческая! Уж сколько раз зарекался, сколько говорил себе, ан нет, поманит нечистый звоном злата-серебра, закрутит колесо разноцветное да шарик по нему скакать пустит.

Смотри, Степушка! Хорошенько смотри! Думай и слушай душеньку свою слабую, и будет тебе богатство великое. Зачем тебе, Степушка, в тягости да бедности жить? И чем ты иных хуже? Отчего им свезло, а тебя Боженька испытывает?

– Прости, – совсем искренне сказал Степушка и, поерзав – стоять на коленях было жестко – залопотал молитву. В лицо Спасителю он старался не глядеть. Из норы за неприметной дверцей выглянула сердобольная старушка-ключница. Увидев Степушку, печально покачала головой, перекрестилась и снова исчезла.

Осуждает?

Ох и тяжело жить, когда все осуждают, буде они сами святы. Буде не знают, сколь силен Дьявол, сколь искусен в соблазнении малых мира сего. И ведь не себя ради Степушка богатства чаял. Семья у него. Жenuшка, детоньки малые...

Нахмурился Спаситель, сделавшись на бабку похожим.

Ну ладно, не такие и малые. И жена давным-давно ушла.

– Бросила! – пожалился Степушка, смахивая слезинку. – Раздела-разула, засудила меня... разве ж это по-божески? По-справедливости?

И детки в мамку пошли. Если и вспоминают про Степушку, то только затем, чтоб денег попросить. Как будто Степушка их рисует. Он им твердит про смирение и труд, а они только ухмыляются. Никакого уважения! И в церковь не ходят.

Оттого все беды, что люди Бога позабыли, очерствели душами. Вот у Степушки душа мягкая, податливая, к чужому горю сочувственная. И хочется ему всем угодить. И женушке своей столько в зубы кинуть, чтоб подавилась. И деткам показать, что папочка их не лыком шит. И Марьянушке, соседушке новой, красных роз купить и духов французских.

– Это ж по Завету! Возлюби ближнего своего, как себя самого. Я и люблю. Паче себя люблю, – Степушка оперся на скамью и поднялся. Плечи ломило, в поясницу постреливало. Никак продудло, теперь радикулит разыграется и будет корезить недельки две.

Ох беды, беды...

К выходу из храма побрел, шаркая растоптанными подошвами по полу. Старуха-ключница уже ждала на выходе, подлетела с кружкой, сунула под нос, проскрежетав противно:

– Степан Алексеич! На нужды храма.

Степушка вздохнул про себя и, оглянувшись на Спасителя, который все еще смотрел строго, но уже не сердито, вытащил заготовленную купюру. Кое-как запихал в узкую прорезь и поинтересовался:

– Слышал, что батюшку сменят?

– Сменят, – ответила ключница, оползая лицом. Зашептала. – Нашего-то уже отозвали. И матушку с ним. Ох и плакала она, ох и плакала... а нового со дня на день. Что ж то делается, Степан Алексеич? Что делается-то?

– Беда, беда... – покивал Степушка, крестясь.

А ведь не спроста отца Николая снимают! Ох, неспроста. Давненько гуляли слухи, что подворовывает батюшка. Стяжательство – грех великий, но простительный. Ведь Степушку-то простят, а батюшка и на новом месте неплохо обустроится. И мысль эта придавала Степушке сил. До самого дома – шел пешком, экономя оставшиеся купюры – он думал только о том, что милосердный Боженька дал ему еще один шанс. И уж этот-то Степушка не упустит.

Начнет жить праведно.

У самого подъезда столкнулся с Марьянушкой. В новом белом пальто с мохнатым воротником из крашеного кролика она была хороша. Алели румянцем пухлые щеки, похотливо блестя глаза, выпученные губы притягивали взгляд, и Степушкино сердце пойманной птахой забилося в сетях соблазна.

Хитер Дьявол, ох хитер.

– Здравствуй, Степан, – пропела Марьянушка, протягивая пакеты. – Поможешь донести? А то я женщина слабая, тяжело...

Подхватил, охнув от тяжести – камней в них, что ль, напихали? – и потянулся за широкой спиной. А Марьянушка все говорила.

Про одиночество свое. Про мужа, ирода, сбежавшего. Про то, что Степушка – мужик хороший, только что неухоженный, но это – дело поправимое.

В квартире ее сытно пахло булками и котлетами. Марьянушка предложила чаю, и Степан согласился. Разувшись – ох и стыдно за носки драные стало – прошел в зал. Отметил, что мебель стоит хорошая, почти новая. И мягкий уголок дорогой, и секция с хрусталем старым, венгерским. И телевизор плоский, и много всего. Особенно приглянулась Степушке ваза огромная с пукотом темно-багряных роз. Пощупал – так и есть, искусственные. А глядятся как живые!

Степушка очень ценил умение мертвое живым делать.

Марьянушка суежилась. Принесла кружки нарядные, фарфоровые – такие Степушка в супермаркете смотрел, но покупать не стал: дорого. И чайник у нее расписанный синими цветочками. И сахарница к набору.

– А вы, Степан, чем занимаетесь? – скинув пальто, Марьянушка только похорошела. Синяя кофта плотно облегла грудь, пышная юбка богато отливала золотом, а на ногах, что Степушку удивило больше прочего, были не тапки – туфли на каблучке.

– В органах работаю, – ответил Степушка, беря бутербродик с ветчинкою. Подумав, прикрыл сверху листиком пахучего сыра. – Судебный эксперт я.

И ведь почти не соврал. Так, самую малость.

Марьянушка, всплеснув руками, уставилась влюбленно. Вот она, настоящая женщина. Это только бывшая зудела, что Степушка никчемный, а работа его – для дураков. А уж то, чем он в свободное время занимается, и вовсе ужас тихий. Марьянушка – дело другое.

А ведь может, у них сложится. Конечно, может! Он одинокий. Она одинокая. Для того Боженька их и свел... вот только денег почти не осталось.

Ну да Степушка знал, где взять.

Конечно, нехорошо и наказуемо, что по Божьим законам, что по человеческим. Но от одного разочка беды не будет? Господь охоронит. А тот, у кого Степушка денег попросит – немного, только на жизнь новую – сам виноватый.

Убийство – грех больший, нежели шантаж.

Когда началась церемония, Адам встал с кресла и приник к стеклу. Он вглядывался в лица собравшихся – к счастью, их было немного – и пытался определить, кто из них убил сестер Красникиных.

Пустое занятие. Он никогда не умел читать живых.

Наконец все закончилось, и Ольга вывела их из зала. А затем вернулась: мадам Красникина желала поговорить с господином Тыниным. И Адам решился.

– Я Алина, – сказала женщина, по-мужски протягивая руку. Адам не стал пожимать, и она ничуть не смутилась. – Алина Красникина.

– Знаю.

– Красникина – это фамилия по мужу. К сожалению, он умер.

– Знаю.

– Все-то вы знаете, – она криво улыбнулась и, достав из сумочки портсигар, открыла, предлагая.

– Здесь не курят, – заметил Адам. – Я попросил бы вас уважать наши правила.

– Надо же... правила. Везде правила. Куда ни сунься – правила. И все хотят, чтобы их правила уважали.

Но портсигар мадам Красникина убрала. Теперь она молча разглядывала Адама, и ему стало неудобно под этим жестким взглядом. На психиатра похожа. Тот тоже садился и пилился-пилился, выворачивая наизнанку, а после начинал в этой изнанке ковыряться, не слишком заботясь о том, что кому-то больно.

Через боль идет излечение.

– Я хотела вас нанять.

– Вы меня и наняли. – Уйти несложно. Дверь рядом. Всего-то и нужно, что шагнуть, повернуть ручку, приоткрывая сырое нутро коридора. Она не пойдет следом. Наверное.

– Нет. Я хотела вас нанять провести... вскрытие. Идемте, я не могу здесь говорить! – она взяла Адама под руку и дернула, заставляя идти рядом.

Чужое прикосновение ввело в ступор. Стряхнуть руку! И эту паучиху в черном наряде оттолкнуть! Сбежать!

Стоять. Это просто прикосновение. Ничего страшного. А она тянула за собой. И Адам шел.

– Смерть Ольги была... ожидаемой. Лейкемия, пусть и в стадии рецессии, такое заболевание, с которым поневоле начинаешь готовиться к... неотвратимому. Все это знали. И Таня тоже. Только Таня, в отличие от меня, была молода. Ей казалось сама по себе смерть невозможна, что если она случилась, то кто-то виноват. И закономерно, что Таня определила на роль виновной меня. Я знаю, она приходила к вам.

Адам кивнул. Говорить он не мог: страх крепко держал за горло.

– Мне казалось, это пройдет. Я давала Тане время. Я находилась рядом, потому что боялась отпустить ее. В таком возрасте легко натворить глупостей, о которых будешь жалеть всю жизнь. Я убила Таню.

Это признание заставило Адама остановиться. И стряхнуть с руки цепкую ладошку Алины. Мадам Красникина, толкнув дверь, выбралась из здания на гранитный пятачок заднего двора.

– ...образно выражаясь. Теперь мне кажется, что если бы я прислушалась к ней, она была бы жива. Здесь курить можно?

– Да.

– У вас хриплый голос. Вам ведь неприятны прикосновения? И люди в принципе? Мне многое известно о вас. Вы, господин Тынин, еще в прошлый раз весьма меня заинтересовали.

– Какова цель вашего визита?

– Мне нужна помощь, – она курила, жадно всасывая из сигареты дым, и щеки впадали, а скулы становились четче и острее. Казалось, натянутая кожа вот-вот треснет, обнажая кость. – Когда Татьяна умерла, я сперва растерялась. Я любила ее. И Ольгу тоже. Да господи, я не та мачеха, которая спит и видит, как бы избавиться от детей! Я их растила! Я к ним привязалась! И... и теперь у меня такое чувство, будто...

– ...сердце вытащили.

Алина не лгала.

Отвернулась, тишком смахивая слезы. Продолжила прежним, сухим тоном.

– Именно. Вытащили. А когда в груди дыра, думается плохо. Ведь было освидетельствование! И вскрытие было! И результаты его я сама читала. Но...

– Случилось что-то, изменившее ваше мнение.

– Моя племянница. Вы видели ее в зале. Глупая девчонка, истеричная и совершенно невозможная, но она считает, будто это я убила Татьяну. Представляете? Сначала это показалось мне глупостью. Однако... чем дольше я думала, тем подозрительней казалась ситуация. Сначала Ольга. Теперь Татьяна. Кто следующий? Наверное, я. Нет, не думайте, мне не страшно умирать. Я давным-давно свыклась с этой мыслью, но вот знать, что тебя убьет кто-то из родных, неприятно.

Ей совсем не шла истеричность. Адам с брезгливостью разглядывал искаженное лицо, отмечая сухие губы и тонкие складки у век. Потом перевел взгляд на дрожащее горло, и белые спокойные пальцы.

– Вы должны сказать мне правду! – она снова попыталась схватить его, но на сей раз Адам уклонился.

– Нет.

– В смысле?

– Я не должен вам ничего говорить.

– Но можете?

– Возможность не является определяющим фактором в данном случае, – Адам снова стал говорить так, как нельзя говорить. Следовало успокоиться. Вспомнить то, чему учили психиатр и Яна. Но воспоминание о Яне лишь подхлестнуло болезнь. – Требования с вашей стороны неправомерны и выходят за границы изначальной договоренности, следовательно, со своей стороны я имею...

– Заткнись. Денег хочешь? Сколько? Назови сумму.

– Денежный вопрос несущественен.

– Тогда что? Переспать со мной?

– Скорее мое желание в данном случае имеет обратный вектор.

Алина бросила сигарету и раздавила ее.

– Какой же ты псих!

Об этом Адаму многие говорили. Статистически они были правы.

– Ничего. Я найду на тебя управу.

И это тоже возможно.

Девочка, которая хотела знать все

Она родилась в грозовую ночь. Тяжелые облака заволокли небо, и луна выглядывала в пробоины туч, полыхая желтым глазом. Сверкали молнии, гром бился о скалы, и они вздра-

гивали в благоговейном ужасе. Крылья ветра сметали кучи камней, и река, принимая их, вскипала белой пеной, вставала на дыбы, пытаясь вырваться из русла.

В кипении грозовой бездны неподвижен оставался лишь замок семьи Эчед. Прочно вросли в скалу кряжистые башни, штыками поднялись ипили, тусклый свет скрывался за окнами.

Ветер бился в кровь о стены.

Билась в судорогах Анна Батори. Жадно вслушивался в крики ее супруг. В руке Дьердь Батори держал серебряную чашу, и старуха-цыганка лопотала заклатья, призывая древних духов на помощь роженице. Вот щелкнули пальцы, высыпая в воду пепел мертвецов. Дернулся подбородок с черной бляшкой-бородавкой. Плюнула цыганка в воду, перекрестилась и, выбив чашу, завывала:

– Чудище идет! Чудище идет! Стригой!

– Заткнись! – Дьердь залепил старухе пощечину, но цыганка не смолкла. Откатившись кубарем в угол зала, закрыла голову руками и заплакала тоньше, горше.

И ветер, подхватив ее крик, заскулил раненым волком.

И собаки, взбудораженные воем, залаяли.

В этом гомоне потонули тонкий писк младенца и стон его матери, обессиленной родами.

Крупнотелая повитуха, с лицом побитым оспой, вынесла младенчика и с поклоном протянула его хозяину, сказав:

– Девочка. Вы только посмотрите, какая красавица!

Дитя было бледно, словно вылеплено из горного снега, и лишь глаза сияли темными ага-тами. Взгляд их, слишком серьезный для младенца, проник в душу. Сердце вздрогнуло, и Дьердь Батори, до того совершенно равнодушный к отпрыскам своим, взял новорожденную в руки.

– Чудовище! – завывала цыганка, о которой он почти забыл. – Чудовище родилось!

– Уберите ее, – велел Батори и, подумав, добавил: – Выставите за ворота. Просто выставите.

Успокаивался ветер. Свив гнездо в заснеженном ущелье, он сложил крылья. Река, устав биться в ловушке русла, успокоилась и поползла стремительной змеей меж каменными клыками дна. Она тянула серые глыбины льда и вспухшее тело молодой крестьянки.

Анна Батори оправилась от родов быстро, стряхнув и боль, и немочь телесную, словно собака воду. На другой день она поднялась с постели, на третий – вышла из комнаты.

На пятый – самолично порола няньку.

Девочка, сидя на руках у брата, внимательно глядела на экзекуцию и лишь причмокивала губами.

– Смотри, – сказал Иштван. – Мерзость какая!

Сам он больше глядел на белые тела крестьянки, на мягкую спину ее с тугими комками мышц и ажур старых ирамов. Вообще – в замке все чаще переешепывались, что детки у Анны Дьяволом меченные. Один от падучей мучится, другой на голову слаб, а третья так и вовсе бледна до того, что сразу ясно – не жилища. Но шло время, а Эржбета, странно молчаливая и некапризная для младенчика, не думала помирать. Зато померла ее кормилица. Девка дородная и здоровая телом, она за три месяца высохла, потеряла половину зубов и окривела на один глаз. Отошла она тихо, во сне, и только новорожденная на другой день хныкала, чего за нею прежде не водилось.

– Зубы режутся, – деловито сообщила местная знахарка да присоветовала подмешивать в козье молоко маковый сок. И верно, сон девочки стал спокойнее.

Вторая кормилица разбилась насмерть. Она неким чудом, обойдя стражу, взобралась на замковую стену и шагнула в пропасть. Река после вытащила тело на отмель, насадив на острый каменный зуб, словно муху на соломинку.

Третью решили не искать, благо коз и коров в замке хватало. Однако или в молоке их не доставало чего-то важного, или дело и вправду было во врожденной хилости девочки, но росла она медленно.

В год она еще копошилась, пробуя ползать. В два – встала на ножки и сделала первый шагжок, чем несказанно обрадовала отца. В три – заговорила.

Первым словом, произнесенным ею, стало собственное имя. Девочка увидела себя в материном зеркале и, зачарованная отражением, сказала:

– Эржбета!

Чуть позже она начала произносить имена прочих домашних.

– Дурочка она! – кричал Иштван отцу, заходясь от ревности, а тот со смехом возражал:

– Зато красивая.

Она и вправду была неправдоподобна красива. Белокожая, темноглазая и темноволосая, Эржбета соединила в себе черты обеих ветвей древнего рода, словно рассеянная по многим жилам кровь братьев Батори проросла в девочке, знаменуя возрождение. И чем старше становилась Эржбета, тем чаще о том заговаривал Дьердь. И раз от раза все большие в его речах становилось гордыни.

Внимали им горы, вздыхали и передавали слова реке, которая несла их вниз, на равнины, как носила и тела, каковые с завидной регулярностью отторгались замком.

Незадолго до шестого дня рождения Эржбеты, каковое Дьердь Батори планировал отпраздновать с размахом, в замке произошло два события: Анна принесла мужу еще одного ребенка, и очередная нянька Эржбеты исчезла, как казалось, бесследно.

Однако спустя неделю ее сыскали по запаху в одном из погребов. Тело изрядно подгнило, да и крысы вовсю расстарались, однако дворня, которой пришлось выволакивать мертвячку, судачила о престранном выражении ее лица, неуместно счастливом.

Эржбета же еще больше похорошела.

– На жизнях чужих, – зашептала дворня, но шепот этот был тих и полон страха – отнюдь не суеверного. Помнили слуги о гневе Батори, о языках вырванных, о клеймах да жезле, о крови, что не единожды заливала двор замка.

Помнили и хранили молчание, привечая гостей. Крепко было семя братьев Гут Келед, многожды прорастало оно на земле венгерской. Сидели на востоке Трансильванские Батори-Эчед, сторожили запад Батори-Шомльо. И глядела из окна Эржбета на людей да повозки, заполонившие узкую горную дорогу, на штандарты и стяги, на драконов и волков.

– А вон от дяди Штефана идут, – Иштван указал на особо роскошный посольский поезд. – Дядя Штефан – король!¹

– Знаю, – отмахнулась Эржбета, которой надоел этот шумный мальчишка. Он норовил отпихнуть ее от окна, и ко всему дыхание его отдавало гнилью и луком.

– А там тетин поезд! Тетя Клара! Ты ее не знаешь! – Иштван ткнул сестру локтем под дых и, пользуясь тем, что нянька отвернулась, уцепился за шею.

Ему нравилось смотреть, как белая кожа краснеет, а потом вновь белеет, как будто ничего и не было. Еще нравилось, что Эржбета, в отличие от прочих девчонок, не плачет и не бежит с жалобами.

Правда, совсем не понравилось, когда она ткнула иглой в бок.

Дура.

– Людей много, – сказала она, отпихивая Иштвана.

– Это не люди. Это – родичи.

¹ Стефан Баторий, Батура – польский король (с 1575) и Великий князь литовский (1576–1586), сын Иштвана IV, воеводы Трансильвании, родной брат Анны Батори.

Столы накрыли в нижнем зале, и, прежде казавшийся непомерно большим, он вдруг стал слишком мал, чтобы вместить всех желающих. В черном жерле камина бесновалось пламя. Хитрые повара рассекли его надвое, направив вверх по каменным стенам, и теперь длинные языки огня лизали бычью тушу. Жир с нее капал на начиненных травами ягнят. Еще ниже, над самыми углями, протянулись вертела с птицей, и повара, сами исходя от пота, вертели ручки механизма. Скрежетали цепи, вращались железные штыри, доходило мясо.

В зале было полно людей и собак. Люди разговаривали, громко смеялись, ели, облизывая пальцы или вытирая их о нарядную одежду. Псы грызлись за кости.

Свежая солома, которой накрыли пол, быстро сырела, пропитываясь водой, пивом и нечистотами.

Эржбета сморщила нос. Пожалуй, ей здесь не нравилось. Но отец уже заметил ее и, отвлекаясь от беседы с толстым стариком в черном кафтане, протянул руки и крикнул:

– Вот она, моя красавица!

И люди разом забыли о разговорах, повернулись к Эржбете сотнями лиц, одинаково набеленных. Многие глаза оцепывали ее, жадно, презрительно, равнодушно. Многие рты скрипились в улыбках. И многие слова были сказаны в один миг.

Эржбета не слышала ничего.

Она вдруг словно оглохла, а мир сузился до бледно-синих, как сухие незабудки, глаз удивительно бледной женичины. Она была немолода – Эржбета неким тайным чувством видела внутри незнакомки прожитые тою годы и гниловатую черноту под сердцем – но сумела сохранить красоту.

Узкое лицо ее имело черты строгие и четкие, и лишь губы выбивались смазанным алым пятном. Губы шевельнулись, но Эржбета не услышала сказанного. И тогда женичина сама шагнула к Эржбете.

– До чего милое дитя! – сказала она, касаясь щеки. Холодные пальцы ее были вымазаны в чем-то липком, и Эржбета дернулась.

– Стой спокойно, – велела женичина, и отец не стал с нею спорить. Она же, присев, принялась разглядывать Эржбету точно так же, как Эржбета разглядывала ее.

Теперь, когда женичина находилась так близко, стали видны и морщины, присыпанные белой пудрой, и седина в навоощенных волосах, и даже болезненная дряблость шеи, которую лишь подчеркивали широкие крылья воротника.

Глубокий вырез верхнего платья открывал грудь, расшитые золотыми рунами рукава нижнего подчеркивали тонкость рук. И пахло от женичины не телом, а ландышами.

Приятно.

И пальцы на щеке перестали вызывать омерзение.

Захотелось потрогать золотые серьги. Или алмазные капельки, поблескивавшие в волосах. Примерить высокую шляпу, с которой спускалась дымка вуали, словно туман над рекой.

– Я твоя тетушка, милая, – сказала женичина, глядя в глаза Эржбете. – Клара.

Она протянула руку, и Эржбета, непривычно робея, коснулась раскрытой ладони.

Глубоких-глубоких линий.

Как ущелья. В ущельях воеет ветер, разворачивая стяги. Он подхватывает на крылья тучи стрел и швыряет их на стены замка. Стрелы свистят, сливаясь тысячами голосов в протяжный вой. Железные наконечники, сталкиваясь с камнем, высекают искру. Или пробивают панцири и толстые кожи, впиваясь в тело. И ветер с радостью срывает крики с губ умирающих...

Катится, гремит оружием лавина людская. Цепляется хлыстами осадных лестниц за стены, стучит круторогим тараном в ворота, глотает струи кипящей смолы и камни, что сыплются сверху. Трещат ворота. Вскрывается замок, как раковина, и воюющие смуглолицые люди сотнями клинков кромсают мягкое его нутро.

То тут, то там вспыхивают огни. Льется кровь. Прорезает общий гомон боя протяжный женский крик. Копыта мнут людей, секиры рубят, мечи колют. Татарин на скаку вспарывает кончиком копья глотку и смеется, радуясь уменью. И падает, сраженный последней стрелой.

Сдался замок.

Затихла битва.

– Что ты видишь? – жесткие пальцы вцепились в подбородок, задирая голову, нос прижался к носу, а мертвые глаза оказались очень близко. – Что ты видишь?

Синее-синее небо и синие же вершины, словно вылепленные из вышины. Белые гроздья облаков. Белая лента на шее. Серое лицо, искаженное мукой.

Раскрывается рот в немом крике, дергаются обрубки рук, мажут красным по камню. И под гогот толпы изуродованное тело насаживают на вертел, поднимая над костром.

Эржбета хочет отвернуться, но пальцы не позволяют.

– Что ты видишь?!

Все. Она видит рождение и младенца в белых пеленках. И повитуху, получающую награду из рук короля².

Видит дитя в тяжелом наряде.

Видит девушку у алтаря, над которым, заслоняя крест, расправил крылья дракон Батори.

Видит старика, чье лицо скрывается под подушкой, и молодая, свирепо рыча, давит на его грудь коленом. Пальцы ее побелели от гнева, искаженное злобой лицо страшно.

И прекрасно.

И снова свадьба да алтарь, марево над многими свечами. Золото и багрянец. Кровать с резными столбиками и тяжелый балдахин с желтыми кистями. Тронь – и распрямятся бархатные складки, закрывая молодоженов от жадных глаз прислуги.

– Вы их убили, – шепчет Эржбета, и незабудковые глаза вспыхивают жизнью.

– Да, – звучит несказанное. – И других тоже.

Йохан Бетко умер от яда. А Валентин Бенко в пропасть упал... он был неуклюж, а Клара – осторожна.

– Ты... тебя изгонят, – слова выходили из Эржбеты, хотя ей совсем не хотелось говорить. – Признают недостойной называться Батори. Твой отец...

...сам убивал многих, пусть и чужими руками.

– ...а потом ты умрешь...

...глядя на то, как корчится на вертеле молодой любовник, а после – в лицо турецкого паши. Он будет щедр к своим солдатам, он всем желающим даст попробовать этого поразительно белого тела. А после, когда желающих не станет, самолично перережет горло.

И снова все будет красно.

Внизу.

Вверху останется только синее.

– У тебя удивительная дочь, – говорит Клара, отпуская девочку. – Береги ее. И берегись ее.

Этот тихий, словно шелест осенних листьев, голос летит по залу. А Клара вынимает из волос высокий гребень, украшенный накладками слоновой кости, и протягивает Эржбете.

– Возьми, милая. Спасибо за предсказание.

– Оно было недобрым, – хмурится за спиной отец.

Гребень теплый. От него исходит все тот же тонкий ландышевый аромат, и меж зубьев застрял седой волос.

² Клара Батори была дочерью Андраша IV, короля Трансильвании.

– Оно было честным, Дьердь. От судьбы не уйдешь. Помни об этом, солнышко. Всегда помни.

Теткин голос пробивался сквозь сон, в котором Эржбета шла по воде, а потом оказалось, что вода – не вода, а кровь. И не водоросли тянутся к ногам Эржбеты – волосы женские. Просвечивают на дне глаза, и трепещут ресницы, порождая волну.

Страшно.

Но восходит луна, плещет белым светом, и успокаивается алое море.

– От прекрасного союза Солнца и Луны, восхитительного соединения петуха в золотом оперенье и серебряной курицы – говорит Клара, стоящая на острове из мужских голов, – рождено все сущее. Помни и об этом тоже.

– Я помню.

Волны гасят голос.

Головы дрожат, грозя рассыпать остров, но тетка скидывает широкое одеянье и белые крылья его подобны снегу. Но тело ее еще белее.

– Ты избрана, – шепчут алые губы. – Ты избрана им!

– Кем?

– Великим Иштенем. Иди ко мне.

– Я боюсь.

– Чего?

– Заблудиться. Я не вижу дороги.

– Иштен пришел на эти земли вместе с даками. Иштен подарил победу нашим предкам, пусть те, кто принял ее, и славили распятого. Здесь нет его власти. Здесь нет его силы.

Тетка пела, вытянув руки над морем, и лунный свет стекал с ее пальцев, сплетаясь узкой тропой. Эржбета ступила на нее, забыв про страх.

– Здесь правит Иштен и три сына его. Один есть дерево. Другой есть трава. Третий есть птица.

Лунный свет жег ноги холодом. Дорожка становилась все уже, пока не превратилась в лезвие клинка. И каждый шаг оставлял на ступне глубокую рану. Но раны не кровили, и боль, пусть явная, была терпима.

– Он есть, – сказала Эржбета, вытягивая руки, почти касаясь пальцами пальцев тетки.

– Он есть, – эхом повторила она.

Эржбетины ладони, испачканные светом, почти истаяли. А море закружилось, выплеснуло грязную волну на берег, и иссякло, превратившись в чашу.

На дне ее сидели боги.

Трехликий Иштен с раскрытыми ртами.

Карпатский Ердэг, бледный и немочный, окруженный черными котами.

Темноокая Мнеллики, в чьих волосах птицы вили гнезда, и феи распустили волосы из тонких нитей воды. А в руках – точно такие гребни, как тот, который подарила тетка...

Эржбета знала их, а они знали Эржбету. И это было правильно.

– Теперь тебе хранить, – говорит Клара.

– Обещаю.

Будущее близко. Оно предопределено, но это не пугает. Главное – чтобы хватило сил. Но теперь Эржбета знает, где их взять.

Она проснулась незадолго до рассвета и, взобравшись на подоконник, прилипла к окну. Полная луна плыла в тумане, и с лица ее на Эржбету ласково взирали боги.

По прошествии двух недель гости начали разъезжаться. Некоторые из них, впрочем, остались на несколько месяцев, гармонично вписавшись в спокойное существование замка. Дольше всех задержалась тетка Клара.

Матушка, оправившись от родов, занялась хозяйством. Отец развлекал гостей охотой и медвежьей травлей. Иштван инырлял по замку, подглядывая за служанками.

Клара учила племянницу.

Слуги сплетничали.

– Слушай ветер, – говорила тетка, выводя Эржбету на крепостную стену. – Хорошенько слушай.

И ветер, метавшийся в пропасти, взлетал, гладил волосы, трогал лицо, лез в уши тонким ледяным языком, нашептывая слова, смысл которых оставался непонятен.

Но Эржбета старалась.

– Слушай реку, – повторяла тетка, сходя в бурлящую воду. И та успокаивалась. Пена оседала, каменные клыки исчезали в пасти дна, и волны вторили ветру на непонятном языке.

– Слушай землю, – твердила тетка и, скинув тяжелый плащ, ложилась нагая на траву. Волосы ее вплетались в стебли, а блеклые головки ромашек щекотали кожу.

Эржбета слушала.

Думала.

Повторяла.

Она приносила голубя ветру, и тот принимал подношение, размазывая кровь птицы по лицу. Она отдавала реке собаку, и водоворот благодарно заглатывал живой мешок. Она дарила ягненка земле, и зеленые стебли проросли сквозь живое еще тело. И наступило время, когда тетка сказала, что Эржбета готова, чтобы отдать свою первую кровь Иштвену.

Отражением луны лежал древний камень, и три круга камней поменьше торчали из гнилой листвы. Земля исходила испариной, и жаровня о трех ногах добавляла дыма и вони.

– Ложись, – велела тетка, указывая на камень. – И помни, что если хочешь взять силу, ты должна отдать.

– Что?

– Что-нибудь. Сколько отдашь, столько возьмешь.

Лежать на камне было жестко. С неба на Эржбету любовалась луна, и теткин заунывное пение вплеталось в звуки леса. Теперь голос его был почти понятен.

Мужчина выступил из темноты. Лицо его скрывала рогатая маска. Он был наг и измазан кровью, вонь которой перебила прочие запахи. Эржбета заставила себя не дышать, и глаза закрыла, чтобы не видеть. Человек навалился весом тела, раздвинул ноги. Стало больно. Не нужно обращать внимания на боль. Нужно слушать ветер, который гудит в ветвях, смытая с губ чесночную вонь чужого дыхания. Слушать землю, что стонет и вздрагивает вместе с Эржбетой. И корни деревьев ловят капли первой крови. Слушать воду, что льется из кувшина на угли и сыпется хрустальной росой с травы.

Отдавать.

И брать взамен.

Сила переполнила Эржбету, и кости ее стали камнем. Кровь – водой. Волосы – травой. Она сама была птица и дерево. Лес и болота. Мир, на чьих ладонях лежали замки.

И со смехом этот мир оттолкнул беспечного человека, перевернул спиной на белый камень, а рука, приняв острый кинжал, вскрыла горло, расплачиваясь чужой кровью за взятое в долг.

Всего-навсего в долг.

Об этом тоже надо помнить.

В себя Эржбета пришла уже в замке, и тетка, сидящая у кровати, улыбнулась и протянула нож. Лезвие его было темно, а губы Эржбеты сухи.

– Это было? – спросила она, принимая еще один дар.

– Это было, – ответила тетка. – Теперь ты знаешь, как. Только будь осторожна, милая моя. Это темная дорога. Каждый шаг по ней ведет к пропасти. И сколько бы ты ни плутала, но судьбу не обойдешь.

Тетка уехала на следующее утро. Сундуки ее, как оказалось давным-давно собранные, споро погрузили на телеги. Слуги, вооруженные самострелами и дубинами, окружили поезд, готовые оберечь хозяйку и ее дворню от зверей, лихих людей и туток.

Вот только Эржбета видела, что от судьбы они не сберегут.

– Ты теперь ведьма? – спросил Иштван, пробравшийся в комнату Эржбеты. – Я слышал, как служанки шепчутся, что она отдала тебе всю силу. Значит, ты теперь ведьма?

Скорее та, которая ведаёт тайное. И умеет слушать мир. И знает, как подчинить этот мир себе, но только не знает, зачем. А братец все не отставал:

– А ты можешь клопов повывести? Или вишей? Чесучие они, – Иштван выловил одну из волос и сунул Эржбете в лицо. – Поглянь, до чего здоровые!

Он был болен, и болезнь, пока придремавшая внутри, уже ворочалась, готовясь пробудиться.

Только какое Эржбете было до нее дело? Никакого.

Цыгане пришли с востока. Солнце только-только добралось до вершины, и желтый свет его был подобен покрову, за которым лишь угадывались очертания гор и дороги. Кибитки выползли по одной, будто появлялись из ниоткуда. За ними выскочили всадники, и ветер принес обрывки хриплых голосов, мешанные с конским ржанием и детским плачем.

Чем ближе подползал караван, тем интереснее Эржбете становилось. Она смотрела на людей, бредущих рядом с повозками, на медведя, что шел, норовя забрести влево, а седой цыган бил его по носу хворостинкой. На собак, каковых было много, даже больше, чем людей, и на серого груженого ящиками осла. Ворота замка раскрылись, впуская пришедших во внутренний двор, и молодой чернявый цыган долго спорил с управителем, а после отступил, только хлопнул себя по бокам.

Рубашка у него была красивая, алого шелка, видно, что надетая по случаю.

– Спорим, я медведя поборю? – бросил Иштван, разглядывая ревниво и цыгана, и медведя. За прошедшие годы Иштван вытянулся, раздался в плечах и надулся в брюхе. Плечи у брата были железные, а брюхо – мягкое, слабое. И болезнь, в нем поселившаяся, грызла утробу, порой доводя до неистовства.

Но нынче Иштвану было хорошо. И Эржбете тоже.

А цыган понравился. Глаз у него черный, хитрый, и жизни много. Редко случается, чтобы в ком-то так много жизни было. Почувствовав Эржбетин взгляд, он обернулся и хитро подмигнул. Сердце заколотилось, а в животе закололо, словно Иштвановская болезнь вдруг решила сменить хозяина.

– Пошли, – Иштван все же чего-то почувствовал. Схватил за руку и поволок, ругаясь сквозь зубы. Пальцы его дрожали, а на шее билась кровяная жилка.

Вечером в зале принимали купцов. Отец сидел на высоком кресле, и Иштван стоял по правую руку его. Матушка присела на скамеечку, а Эржбете достался низенький французский стульчик с неудобной спинкой. Челядь выстроилась вдоль стен и теперь вытягивала шеи, пихалась, норовя разглядеть содержимое сундуков. Тех самых, которых вез ослик. При сундуках суетился еврейчик в затертом колете и желтом, изрядно изгвазданном колпаке. Еврейчик то принимался говорить, то замолкал, видно, напуганный звучаньем своего голоса. Наконец, утомившись, он просто откинул крышку ближайшего сундука и принялся вытаскивать содержимое. Каждую вещь он поднимал высоко, чтобы видно было всем, а после клал на стол. Еврею помогал давешний цыган.

– Вот ленты французские, госпожа! До чего хороши! Так и просятся в косы. Глядите, серебром расшитые, а вот и золотом...

Ленты обвивали его руки, и женичины в зале вздыхали, не то по красоте такой, не то по цыгану. А он уже поднимал отрезки тканей, тяжелого бархата с металлической искрой, легчайшего шелка или газа, вовсе прозрачного.

– Вот кольца, перстни, браслеты, ожерелья! Алмазы из копей самого царя Соломона! Еврей кивал, сотрясаясь от кивков всем телом и едва не падая.

– Сапфиры из царства пресвитера Иоанна!³

Синие камни были мертвы, как глаза тетки Клары.

– А вот рубины, родившиеся из крови святого Петра, когда его побивали камнями язычники...

Еврей затрясся и побледнел, покосившись на отца, ибо лицо того было мрачно. Эржбета запоздало вспомнила, что евреи – тоже язычники.

Дьердь Батори сделал знак, и цыган, благоразумно умолкнув, оставил шкатулку, принявшись за следующую. В ней лежали гребни и сетки для волос. Потом на свет появились парики и резные блоховки, стила и ножки для чистки пергамента, чернильницы и чернила.

Становилось скучно.

– А здесь особый товар, – цыган извлек объемную шкатулку, обитую темным сафьяном. – И если вы позволите приблизиться...

Отец махнул рукой, и цыган, согнувшись в поклоне, подошел к возвышению. Еврей потянулся следом, шел он бочком и сутулился, стараясь стать меньше ростом.

– Здесь... если вы позволите... зубы...

Он говорил, запинаясь, но чисто. А цыган откинул крышку. Внутри шкатулка была разделена на ячейки, в которых лежали зубы.

– Отменнейшие зубы. Белые, ровные, здоровые, – голос еврея становился громче. Отец потянулся, разглядывая товар. – И я могу собрать любую челюсть, будь то нижняя или верхняя, мужская или женская.

Он снял с пояса мешочек и вытащил оттуда челюсть, протянув отцу.

– Вот. Смотрите. Я снимаю мерку и делаю...

– Делает наилучшие челюсти по эту сторону мира. Сей скромный лекарь известен и в Лондоне, и в Париже, и в Испании и даже нечестивые турки желали бы воспользоваться...

– Заткнись! – рявкнул отец и, тыча в еврея тростью, спросил: – А ты, значит, лекарь?

Тот кивнул и сунул пальцы в рот цыгану, вытащив оттуда еще одну челюсть. Дворня охнула, а цыган раззявился. И все увидели, что своих зубов у него только два и осталось, да и те – гнилыми пенечками. Эржбета скривилась, до того отвратным показалось ей зрелище. Отец же, напротив, уставился на обоих торговцев пристальным немигающим взором.

– Хорошо, – процедил он, наконец, – завтра поговорим.

На том все и закончилось. Нет, матушка и другие женичины еще долго перебирали ленты, примеряли украшения да трясли отрезки ткани. Цыган торговался, еврей вертелся рядом.

Ночью Эржбета выскользнула из покоев и вышла во двор. Она стояла у стены, глядя на кольцо костров и кибиток, вдыхая смесь пришедших запахов и привыкая к голосам. Гортанно кричала старуха, дергая струны плоского инструмента, подвывали ей две смуглолицые девки, и собаки, затаившиеся рядом, внимательно слушали пение.

– Эй, красавица, от кого прячешься? – он вынырнул из темноты, думая, что остался незамеченным. Эржбете давно рассказал о нем ветер и старый нетопырь, поселившийся в Четной башне. Но для виду она испугалась, и цыган радостно оскалился.

³ Мифическая личность.

– Не бойся, не трону.

Даже вблизи зубы его казались настоящими.

– Я не боюсь, – сказала Эржбета, глядя в рот, а не в глаза. – Ты не тот, кого мне надо бояться...

Под ее взглядом он отступил и скрестил руки на груди. А после медленно опустился на колени и поклонился, волосами коснувшись камня.

– Встань, – велела Эржбета. Цыган послушался. Он побледнел, а на лбу и висках его выступили капли пота.

– Чем могу служить, госпожа?

Эржбета протянула руку и сказала:

– Идем со мной.

И снова удивилась, что этот человек, который силен и мечен жизнью, стал столь покорен. Его рука была приятно горяча, а кожа терпко пахла дымом.

– Ты знаешь, кто я? – спросила она, оказавшись в тиши замкового подземелья. Здесь на древних стенах еще остались символы древних же богов, и сполохи факела красили их алым.

– Госпожа не мулло⁴. Госпожа носит знак Сэру⁵.

– Расскажи, – велела Эржбета и, закрепив факел, села на камни.

Проговорили до утра. Цыган назвался Бронко, но это имя было ложью, и он все время боялся, что эта ложь вот-вот раскроется, а потому не смел произносить иную. Эржбете это устроило. Вот только слова его ничуть не угасили пламя.

Эржбете хотелось иного.

На второй день цыгане, обустроившись, заполнили двор. Их вдруг стало очень много, настолько, что к отцу вереницей потянулись жалобищики. Но они ничего не добились, поскольку Дьердь Батори с самого утра заперся в комнатах. Вместе с хозяином исчез и давешний еврей.

Матушка увлеклась товарами.

Иштван – медведем.

Эржбета – цыганами.

Бронко она нашла с легкостью, как всегда находила людей, которые были ей нужны. Он сидел в кольце старух, до того омерзительных с виду, что Эржбета остановилась, не решаясь приблизиться.

Старухи разом подняли головы и повернулись к ней. Все они были слепы. В бельмяных глазах Эржбете виделось отражение луны, а кривые руки держали воздух. И держали крепко.

– Уходи, – прошамкала одна, выплевывая слюну.

– Уходи! – вторая кинула в Эржбету горсть зерна.

– Уходи! Уходи!!! – взвыли все разом.

Бронко закрыл уши руками. Трус! И предатель. Пламя внутри полыхнуло знакомой силой, и Эржбета, преодолев отвращение, сказала:

– Хорошо. Я уйду. Но пусть она, – Эржбета указала на девочку, вертевишущую неподалеку, – придет сегодня ко мне. Пусть расчешет волосы.

Девочка была совсем юной. Она смотрела со страхом и куталась в кусок драной мешковины. И жалкий вид ее убил Эржбетин гнев.

– Как тебя зовут? – спросила она и потрогала сбитые колтуном волосы.

⁴ Вампир

⁵ Черная дева, символ злых сил в верованиях цыган, прообразом которой стала Кали.

– Как будет угодно госпоже, – ответила девочка, падая на колени. Она низко наклонила голову, и на шее стала видна полоска более светлой кожи.

Послунявив палец, Эржбета потеряла полоску, потом и щеку. Несмотря на загар, прочно вжившийся в кожу, девочка явно отличалась от цыган.

– Тебя украли?

– Купили.

А теперь продали, точнее, отдали вместо улыбчивого, но такого трусливого Бронко. И Эржбета, отослав новенькую на кухню, присела у окна и задумалась.

Их следовало наказать.

Никто не смеет перечить Батори.

Эржбета взяла в руку гребень и стала расчесывать волосы, напевая песенку, которой научила ее тетка. Сквозь толстое стекло пробивались тени пламени и ветер, стучась в окно, требовал впустить.

Не сегодня.

Заснула Эржбета легко, как случалось всегда на полную луну, и спала крепко, без снов, а очнулась оттого, что в постели мокро. По ногам текла кровь, и резкий запах ее вызвал тошноту.

Наутро у постели собрались служанки, и матушка долго, придирчиво разглядывала простыни, а после велела спрятать. Эржбету же на всю неделю заперли. И все, что она могла – это наблюдать, как гаснут костры, сбиваются стадом кибитки, и пестрый караван выходит из замка.

Она послала вдогонку ветер, но тот вернулся, беспомощный и оскорбленный.

Она бросила слово реке, но та не сумела подняться по крутым берегам.

Она попросила горы, но силы осталось слишком мало, и горы не ответили.

Это было обидно. Теткино искусство оказалось бесполезным. Так какой в нем прок? Обида и разочарование сделали Эржбету больной. И лишь присутствие новой служанки, которую разрешили оставить, постепенно примирило Эржбету со случившимся.

Девочку звали Доротея. Родителей своих она помнила плохо, да и прошлую жизнь тоже, зато знала тысячу историй о мулло. С ней было интересно, и позже Эржбета решила, что обмен был справедлив.

А в замке появился новый обитатель, давший еврей по имени Ноам. Он сделал хорошие зубы отцу и матери. И даже обычно трусоватый Иштван стал заговаривать, что тоже позволит себе поменять зубы. Однако стоило ему увидеть стул с ремнями и клещи, которыми надлежало выдрать старые, плохие зубы, как завыл и кинулся прочь, и прятался в подземельях три дня.

Ноам обосновался в старой башне, заняв самые верхние комнаты. Его, казалось, не смущала ни треснувшая крыша, сквозь пробоины которой виднелось небо, ни теснота, ни сырость. Он сам прибрался – служанки еврея сторонились – и подправил древнюю мебель. Толстым ковром легла на пол смешанная с душистыми травами солома, заполонили комнаты сундуки и удивительные вещи, многих из которых Эржбете видеть не доводилось.

Поначалу Ноам принимал ее любопытство с осторожностью и о сокровищах своих рассказывать опасался, однако постепенно привык к частым визитам Эржбеты, каковую сопровождала молчаливая Дорта, и начал делиться знаниями.

– Сие есть армиллярная сфера, каковая являет собой весь небесный свод. А вот астролябия, – говорил еврей, нежно беря в руки блестящую тарелку с высоким бортом. – Ее изобрел греческий астроном Евдокс, а иные полагают, что Аполлоний Пергский. Видите, госпожа, вот эта часть ее именуется «мать», ибо она – основа. Внутри ее вложен тимпан...

Плоский диск был украшен изображениями животных и людей.

– Вот полюс мира и края небесной сферы. А поверху его накладывается паук, на каковом, сколь можете видеть, нанесены двенадцать высших Знаков. Сиречь Овен, Телец...

Эржбета слушала и смотрела, как ловко Ноам управляется с инструментом, как ищет звезды на высоком небосводе и сличает расположение их с таблицами. Как составляет новые таблицы, сверяя линии небесные и земные, выводя пути будущего.

И чем дольше проводила она времени в старой башне, тем большим доверием проникался Ноам. Он принялся учить ее греческому и латыни, без каковых невозможно было чтение книг. Эржбета схватывала быстро, и Ноам единственный из учителей не пенял на скудость эженского ума.

– Небесное властно над всем земным. Над судьбою ли народов, над человеческою ли жизнью, над разумом и телом, – Ноам разворачивал свиток, закрепляя его по углам. И Эржбета жадно разглядывала знакомый уже рисунок, выискивая новые детали. – Вот тело человеческое, каковое состоит из четырех видов жидкостей. И ежели жидкости оные пребывают в равновесии, то человек здоров. Однако же пребывая в движении, светила небесные вызывают смещения жидкостей. Так растущая луна способствует разлитию черной желчи у тех, кто рожден под знаками Воды, отчего приключается меланхолия и разум...

Эржбета запоминала.

Эта наука, разложенная на таблицы и линии, вычерченная в сложнейшей вязи гороскопов и намертво приколотая буквами к листам пергамента, разительно отличалась от теткинкой. И Эржбета, сколько ни думала, не могла понять, кто же из них прав: тетюшка Клара или Ноам?

А если оба, то как такое возможно?

И время шло, наполняясь событиями и раздумьями.

Пролетела весна, стремительная, как водный поток. Растянулось душное лето, полное пыли и дыма. Оно сменилось осенью, и небо затянули тучи. Потоки воды смыли со скал остатки зелени, и сизые их бока теперь блестели, словно смазанные воском.

С первым снегом Ноам заболел. Он начал кашлять, долго и мучительно. И кашель этот, засевший глубоко внутри, не поддавался лечению. Не помогли ни скрупулезно составленный гороскоп, ни мазь на бобровом жиру, смешанная с кровью черного петушка. Беспольными оказались и горячие лепешки из красной глины, замешанной на конской моче.

Болезнь подтачивала Ноама изнутри. И вскорости он ослаб настолько, что перестал выходить из своей комнатушки. Дорта по Эржбетиному приказу каждый день навещала старика, убиралась и разжигала в камине огонь. Однако скудное его тепло просачивалось сквозь щели в крыше и окнах, улетая в безбрежную ночь. И Ноам мерз.

Эржбета подарила ему пуховое одеяло, а он отдал книгу в переплете черной кожи.

– Спрячь, – велел Ноам. – Хорошенько спрячь...

Книга была тяжела. Углы ее поистерлись, а страницы разбухли, словно старческие кости. Широкие ремни перетягивали ее, запирая знание от глаз недостойных. Ярко блестели крохотные замки и ключ от них, переданный Ноамом.

– Ты скоро умрешь, – сказала Эржбета, когда вернулась, припрятав подарок на дне сундука. – Ты отдал мне книгу, потому что знаешь, что скоро умрешь.

– Ты всегда была умной, – в его простуженном голосе явственно прорывались легочные хрипы. – Ваш бог говорит, что женищина – это Дьявол. И все, что в ней есть, от Дьявола. Если так, то он дал тебе много. Ты красива. Ты умна.

Закашлялся, орошая кровью и одеяло, и грязную рубаху. Эржбета поднялась и смешала в чаше воду с бальзамическим укусом, в который добавила несколько капель вина. Подогрев над свечой, она протянула смесь Ноаму. И держала, помогая пить.

Ей не было жаль еврея, как и тетку, чей жизненный путь вот-вот должен был оборваться. Эржбете хотелось узнать, как разговаривать с книгой, в которой – она была уверена – сокрыто иное, отличное от первых двух, знание. Возможно, в нем правда и сила.

– Красота скоротечна. Она сгорает, как свеча из свиного сала, оставляя лишь жир, копоть и дурной запах, – Ноам видел ее, и это тоже было хорошо: не нужно притворяться. – И ум исчезает, медленнее, но все же. Тело слабо... недолговечно... болезни рушат... годы рушат... как этот замок.

– Но есть средство остановить разрушение?

– Есть. Я почти нашел. Ребис. Камень философов. И *aurum potabile*...

– Золотой напиток?

Пришлось наклониться, потому что Ноам перешел на шепот, однако голос его обрел прежнюю силу:

– Возьми философской ртути и накаливай, пока она не превратится в красного льва. Дигерируй этого красного льва на песчаной бане с кислым виноградным спиртом, выпари жидкость, и ртуть превратится в камедообразное вещество, которое можно резать ножом. Положи его в обмазанную глиной реторту и дистиллируй. Собери отдельно жидкости различной природы, которые появятся при этом. Ты получишь безвкусную флегму, спирт и красные капли. Киммерийские тени покроют реторту своим тусклым покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного дракона, потому что он пожирал свой хвост. Возьми этого черного дракона, разотри на камне и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится и, приняв вскоре великолепный лимонный цвет, вновь воспроизведет зеленого льва. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова дистиллируй продукт. Наконец, сын мой, тщательно ректифицируй, и ты увидишь появление горячей воды и человеческой крови.⁶

Эржбета начала было повторять рецепт, но Ноам прервал ее взмахом руки:

– Неверно! Он ошибался. Не со ртути надо начинать, а с крови! Кровь – вот истинная тайна. Чистая душа... чистая кровь... вечность... телесное – прах... – Речь Ноама ускорилась, становясь все более и более неразборчивой, пока вовсе не слилась в бормотанье. Эржбета встала. Она подошла к окну и потрогала влажную изнутри слюду. Сквозь нее просвечивало сизое небо и мутные очертания гор. Снова шел дождь или снег, с дождем мешанный, а ночь напала с востока, подобная сказочному змею. Брюхо его, расшитое звездами, огибало вершины, а в пасти сияла луна.

В змея Эржбета верила когда-то давно, еще до того, как начала верить в трехликого бога, который есть трава, дерево и птица. Но теперь вера снова менялась, уступая место тайному знанию Ноама.

Выживет ли он?

А если вдруг выживет, то не раскается ли в том, что отдал книгу и раскрыл тайну? И не потребует ли вернуть отданное?

Капли со слюды перетекли на Эржбетины пальцы, собрались лужицей, которая норомвила соскользнуть на запястье и оттуда холодной змеей – в узкий рукав. Эржбета решилась. Она распахнула окно и стащила с Ноама одеяло. Он открыл глаза, неожиданно ясные, и улыбнулся:

– Умная девочка.

Эржбета сидела в комнате долго, пока не замерло дыхание и не остановилось сердце. Ноама нашли на следующее утро. И Дорта нащептала, что все думают, будто бы за евреем сам Дьявол пришел. В чем-то они были правы.

⁶ Рецепт, по преданию, составленный алхимиком Раймондом Луллием (ок.1235–1315).

Половина листов в черной книге оказались чистыми. Эржбета осмотрела их внимательно, и при солнечном, и при лунном свете, и смочив краешек молоком черной коровы, и протерев мышинной кровью.

Ничего.

Зато вторая половина пестрела записями. Самые ранние, видимо, были сделаны давно, чернила на них выцвели, а местами и вовсе истерлись, в самых поздних узнавалась небрежная рука Ноама.

Вот только прочесть написанное не выходило!

Эржбета узнавала буквы. Она поворачивала книгу и так, и этак. Читала через одну и через две, складывала цифири, пытаясь найти ключ в астрологических таблицах, но тщетно – тайное знание упорно оставалось тайным.

Ноам посмеялся над своей ученицей.

А время шло...

– ...смотри, смотри, как он корчиться станет! – зудел Иштван, пытаясь ущипнуть Дорту, та стояла ровненько, глядя на Эржбету, и не понять было, пугает ли ее увиденное.

Поле зеленело молодой травой, в которой то тут, то там полыхали алым маки. С неба летела песня жаворонка, почти заглушаемая ропотом толпы.

Много привели. Крепко держали оружие солдаты. Жались друг к другу оборванцы. Гремели цепи, и были туры рога в руках глашатаев. Этот звук породил мигрень у матушки, и она морищилась, не позволяя себе, однако, отвернуться или уйти. Отец сидел тут же, он был мрачен и слегка пьян.

– Раз, два, три... – начал счет Иштван и на третьем десятке сбился, покрасневши лицом от гнева или нетерпенья. Но вот отец поднял руку и, дождавшись, когда звук рогов растает, заговорил. И говорил он долго, красиво, но скучно. Зачем столько слов, когда и без них понятно?

Мятеж подавлен. Мятежники пойманы и будут казнены. На землях Батори воцарится покой.

Эржбета проглотила зевок.

Но вот и речь подошла к концу. Замковый распорядитель тонким голосом зачитал список помилованных, к счастью, коротенький, и велел приступать.

Жаворонок камнем рухнул на землю и, не коснувшись травы, взмыл в небеса. Когда черная точка растворилась в золотом мареве солнца, Эржбета перевела взгляд на поле. Действие, развернувшееся там, было привычно и оттого скучно. Сначала клеймили. Потом рубили руки и носы, драли языки и секли, деловито, неспешно. Воздух заполнялся кровавым смрадом, на который живо слетелись мухи. Гудение их крыльев почти заглушало вопли.

А матушка, уже не стесняясь, голову мнет. Матушке не по вкусу казни, а вот Иштвану нравится. Смотрит он неотрывно, рот приоткрыл, кончик языка вывалил и слюну пустил по щеке. Смешной. Разве можно так себя на людях выставлять?

Эржбета ткнула братца в бок иголкой, и тот дернулся, замахал руками, жирный и неприятный, как одна из мух. А взгляда-то не отвел...

До кольев добрались только к вечеру, когда Эржбета уже изрядно притомилась сидеть. Оттого в замок возвращалась она охотно и, забравшись в кровать, думала, что если кровь человечья в философский камень выродиться способна, то на земле Венгерской ее предостаточно пролито. Так почему же не слышно о том, чтоб кому-то удалось отыскать этакое чудо?

Достав книгу, Эржбета наново принялась изучать рисунки. Вот человек со снятой кожей, и каждая мышца его подписана. Вот иной, у которого уже и мышц нет, зато видны сосуды кровавые и сердце о трех желудочках, к которому дорисован четвертый. Чернила

темнее, и значит, рисовал уже Ноам. Вот еще человек, из которого льется кровь, а из нее уже рождается дракон красный с куцыми крылами. Пасть его раскрыта и меж зубов сияет золотом яйцо.

Вот письмена – танец пауков на бледно-желтом листе пергамента.

И мысль, подобная откровению свыше: не во всяком знании есть смысл.

Часть 2

Свет

Дашка просыпалась долго. Сначала она ворочалась в постели, зарываясь в одеяло, но яркий свет все равно щекотал глаза, заставляя морщиться. И в конце концов, Дашка смирилась, потянулась, зевая до ломоты в челюсти, а потом смачно чихнула.

Белое перо, сорвавшись с подушки, заплясало в воздухе.

Хорошо. Просто замечательно!

За окошком солнце висит на качелях проводов. Галдящие птицы облепили кормушку, и только старая ворона наблюдает за суетой с неодобрением. Ворона Дашке симпатична. Она напоминает саму Дашку: взъерошенная, раздраженная с виду, но в душе, несомненно, прекрасная.

Быть может, вообще в каждой вороне жар-птица прячется.

Еще раз зевнув, Дашка выбралась-таки из кровати, прошлепала на кухню, стараясь ступать только по нагретым участкам пола. Приходилось прыгать, и от этого тоже становилось смешно.

Утренний кофе с утренней сигаретой и утренним творожком, который дань моде и еще привычке. Вообще-то, творог Дашка не очень любит, но если с вареньицем... Варенья оставалось на дне банки и еще на стенках, и Дашка ела пальцами. Было вкусно.

– Трям, – сказал будильник, и тут же зазвонил телефон. Брать трубку не хотелось: день был слишком хорош, чтобы портить его работой. Но вот творог закончился и кофе тоже, а телефон и не думал умолкать. Дашка смирилась.

– Да? – она прижала трубку к уху и почесала живот.

– Дарья Федоровна? – осведомился холодный женский голос.

– Дарья, – согласилась Дашка. – Федоровна.

На животе виднелась россыпь красных пятнышек. Интересненько, а это откуда?

– Мне необходимо с вами встретиться. Я хочу вас нанять.

Клопы, что ли, завелись? Или комары? Но комар был один, очень нудный и хитрый, он звенел по ночам, доводя Дашку до истерики, а днем прятался. И дихлофос его не брал. И раптор. И вообще Дашка постепенно проникалась к комару уважением.

Может, аллергия?

– Вы можете подъехать... скажем, в Бужский парк? Вы ведь живете рядом, если не ошибаюсь.

– Ага, – Дашка натянула майку, прикрывая красные пятнышки.

– Через полчаса вас устроит?

Вполне. Полчаса – это целая вечность. Правда, еще таблетки найти надо, от аллергии. Или черт с ними?

В парке свежо. Черные зеркала луж в белом кружеве раннего льда. Солнце смотрится-смотрится, но разглядеть себя не может. И Дашка не может, хотя она и не смотрится, так, краем глаза разве что.

На седых стеблях дремлют звезды поздних астр и сухие бархатцы печально шелестят корзинками, рассеивая семена. Дашка набрала полную пригоршню и вытряхнула на черное поле свежевскопанного газона. Ветер подхватил...

– Дарья Федоровна Белова? Я думала, вы несколько... старше, – женщина стояла у лавочки. Черный плащ с черным поясом, черные сапоги и черный платок, надвинутый на самые брови. И лицо в этой черноте глядится бледным, немочным.

– Здрасьте, – сказала Дашка. – Я просто вот...

Женщина вдруг улыбнулась и, протянув руку – черная перчатка с черными стразами – представилась:

– Алина. Извините, я просто редко ошибаюсь в людях, а вы...

Очки исчезли в кармане, и взгляд Алины скользнул по васильковому Дашкиному пальтецу, задержался на широких ярко-желтых шароварах и уж точно не оставил без внимания красные казаки.

– Вы выглядите весьма экстравагантно.

– Спасибо, я старалась. Прогуляемся? Тут пруд есть. И утки. Я иногда прихожу их кормить. А вы когда-нибудь кормили уток?

– Давно.

Шли молча. Дашка думала о том, что Алине идет ее имя, но не идет чернота. И что утки, наверное, разлетелись, так как в парке пусто. И что морозы прихватили листву, и та больше не шуршит под ногами, и от этой близости зимы немного грустно.

– Вас рекомендовали как человека надежного, – Алина не дотерпела до пруда, заговорила, как только миновали карусель. – И разумного.

– Ага. Наверное.

– ...мое дело достаточно специфично и... мне нужен совет. И помощь. Для начала. Я готова заплатить. Десять тысяч за согласие сотрудничать. Десять, если удастся получить информацию, которую, я знаю, вы можете получить. И сорок – по окончании дела... конечно, если дело существует.

Печальные лошадки с облезшей за лето гривой. Красные и синие лодочки, ставшие на зимний прикол. Разноцветное колесо «Ромашки»... она еще с советских времен стоит, но работает – Дашка видела.

А вот и мостик с ржавой оградкой, и пруд, который все зарастает и зарастает, но никак не зарастет.

– Так вы согласны?

Алина не терпелива. Ее пальцы постукивают по перилам, и на черной коже перчаток оседает пыльца ржавчины. А лоб прорезают три вертикальные трещины, которые уродуют лицо.

Дашка вздохнула и, вытащив из кармана пакетик с кормом, сказала:

– Ага.

– Тогда, быть может, обсудим подробности в каком-нибудь более подходящем месте? – Алина поморщилась, указав на пруд.

Ну да, воняет. Осенью всегда немного воняет, но ведь утки же ждут! И Дашка, вздохнув, вывернула пакет над водой.

Эта девица не внушала доверия, но... но какой у Алины выбор? Отступить. Обратиться к нормальным специалистам. Или рискнуть и связаться с Дарьей. Или связаться с Дарьей, а потом, когда она вытащит из Тынина нужную информацию, передать дело спецам. Пожалуй, так будет лучше всего.

Алина еще раз оглядела свою визави.

Высокая. Тонкая, но худоба эта отнюдь не модельная, скорее уж истощенно-болезненная. Кожа смуглая, с пурпурными пятнами румянца на щеках. Глаза серые и волосы тоже. Станный оттенок, как и сама Дарья.

И эта ее страсть к ярким цветам... несерьезно.

Вывернув пакетик наизнанку, Дарья тщательно стряхнула все крошки и, сложив, сунула в карман. Пальто на ней кошмарнейшее, чересчур короткое и широкое, пелериной. И брюки пузырями. Девица Алине совсем не нравилась.

– Знаете, – сказала девица, заглянув в глаза. – Вы ведь можете нанять кого-нибудь другого.

Ах, если бы так...

Наконец убрались из парка. Местное кафе было грязным, но Дарья, казалось, не замечала его убогости. Заняв столик у окна – виден кусок парка с рыжим шаром солнца – она долго и придирчиво изучала меню, чтобы заказать сухарики, пиццу и чай.

Алина попросила минералки, надеясь, что не отравится.

– Так и чего вы хотели? – поинтересовалась Дарья, отправляя в рот сухарь. Хрустела громко, нарочно, чтобы Алину позлить. Господи, ну почему все задалось целью вывести Алину из равновесия? Спокойнее. Вдохнуть. Выдохнуть. Достать папку. Подвинуть.

– Вот. Там все.

Дарья листала неторопливо, не забывая при этом хрустеть сухариками. Крошки с пальцев она слизывала, а листы переворачивала левой рукой, не испытывая при том ни малейшего неудобства.

– Вы думаете, их убили? – наконец спросила она, закрыв папку.

– Да.

– Но протокол вскрытия...

– Ложь – от первого до последнего слова. Я так предполагаю.

Принесли пиццу на пластиковой тарелке и пластиковый же стаканчик, раздувшийся под действием кипятка. Того и гляди, треснут тонкие бока, выплескивая мутную жижу, которую здесь выдавали за чай. Как она может это есть? И пить?

И почему не задает вопросов? Смотрит только искоса, с насмешечкой.

– И я почти уверена, что было второе вскрытие. Вот только результаты его мне не известны. И я хочу, чтобы вы их получили. Понятно?

– Понятно, – Дарья, наклонившись, подула на чай, пуская по коричневому морю мелкую волну. – К Тынину, значит, отправляете...

Ну что ж, она хотя бы не глупа.

– А вы знаете, что он псих? Причем полный? Нет, я серьезно. Он кажется разумным и где-то даже адекватным, но его заключения...

– У него синдром Аспергера. Я в курсе. Как в курсе того, что это значит.

Дарья фыркнула и, ухватившись зубами за пиццу, пробурчала:

– Он просто шизик. Просто шизик. А синдром – чтобы звучало красиво.

Ела она неаккуратно, подхватывая рассыпающуюся начинку пальцами и пальцы же облизывая, урча и причмокивая, прихлебывая горячий чай и застывая с раскрытым ртом.

Алина отвернулась.

– В любом случае, предполагаю, что ни с кем, кроме вас, он говорить не станет.

– А он и шо мной не штанет. Шишик.

– Он знает, что произошло с Татьяной. И мне не скажет. Я пробовала. Я уговаривала. Я предлагала деньги. Да он мог бы назвать любую сумму, но...

– Но психам деньги ни к чему, – нормально сказала Дарья, и в кои-то веки Алина с ней согласилась. – И сочувствия из него вы не выбьете, потому что он не умеет сочувствовать. Эмоции – вообще слишком сложно для него и... и в общем, я согласна. Деньги вперед. И папочку я с собой заберу, если не возражаете. Кстати, они ведь в обычной школе учились, так? Почему?

– Так хотел их отец.

– Но он же давным-давно умер.

– И что?

– Ничего, – Дашка допила чай и пальцами отжала пакетик, кинув его на тарелку. – Совершенно ничего... просто подумалось. Вы же не будете против, если я в школу загляну? Если уж копать, то копать везде. А день сегодня хороший, правда?

Алина пожала плечами: обыкновенный. И голова болит.

– Вы ведь не только из-за Тынина уверены, что Танечку убили, верно? – теперь серые глаза смотрели зло. – Есть еще что-то. И мне надо знать что.

Будь это другое место или другой человек, Алина нашла бы способ молчать, но здесь и сейчас она слишком устала, чтобы сопротивляться:

– Это я... я виновата! Она говорила, а я не поверила. И теперь Таня умерла. А я должна убедиться.

– В чем?

– В том, что ее убили. Или что она умерла. Господи, да хоть в чем-нибудь, но с однозначным ответом! Слышите?

Дарья кивнула и, сунув в рот пластиковую ложечку, сказала:

– Слышу. Про ответ потом поговорим. А вы мне пока досье на ваших родственничков подготовьте. Подробненькое. И чур – честное. Напишите о них так, как вы и вправду думаете.

– Полагаете, это кто-то из них?

Галина? Витольд? Сергей? Анечка? Кто, черт возьми?

Анечка с трудом подавила зевок. Нудотень. Ну и какого она вынуждена тухнуть тут, вникая в подробности какой-то там войны, когда на улице солнце и вообще денек отменный? В центре девчонки говорили про распродажу в «Burberry», и от «NafNaf» СМС-ка пришла о новой коллекции, да и в МЕХХ и «Mango» завоз намечался...

Слинять, что ли?

Русичка точно распахнется, станет втирать классухе, что Анечка безнадежна, а классуха мамуле позвонит – тут и гадать нечего, сто пудов позвонит. Мамка, естественно, тетеньке нажалуется, а та... стоп. Ничего та не сделает! Ни-че-го-шень-ки!

Анечка аж заерзала на месте, и историчка – истеричка она, а не историчка – тотчас вперилась недружелюбным взглядом.

– Ногу отсидела, – сказала Анечка, выставляя в проход ножку. Ножка была хороша, да и палевые чулочки с синими незабудками лишь подчеркивали ее стройность. И Кузька с задней парты одобрительно засвистел. Историчка же побагровела, того и гляди лопнет от злости. Вот потехи было бы!

– Глушина, вы у меня допрыгаетесь! – предупредила она в стопятьсотысячный раз. Можно подумать, можно подумать... директриса не даст Анечку отчислить, потому как тетенька башляет школе и директрисе лично. А историчке-истеричке не башляет, вот та и бесится.

Анечка подавила зевок и вперилась в окно. Школьный двор в окружении перекопанных клумб, парочка чахлах туй, дворник в оранжевом жилете шоркает метлой по плиткам. Шоркает и шоркает, а с места не сходит...

– Глушина! Выйди из класса! – взвизгнула историчка-истеричка и указкой по столу шлепнула. Сама дура. А из класса Анечка только рада. Подхватила сумочку, тетрадки, пошла медленно, нарочно вихляя задом, а рядом с Кузькой задержалась.

Тот осклабился.

Придурок. Все в этом классе придурки. И в школе тоже. Серега – единственный нормальный человек и то потому что брат. Теперь, когда исчезла нужда конкурировать, он казался даже симпатичным. И по Таньке горюет. Или все-таки притворяется?

В фойе было тихо. Дремал за стойкой вахтерши мордастый охранник, поливала цветки уборщица, то и дело на охранника оглядываясь, читала журнальчик дежурная. Она было вскинулась, но Анечка махнула рукой, и дежурная снова углубилась в чтение.

Они никогда ничего не видят и ничего не слышат. За это и платят.

Тащиться в центр одной было скучно, и Анечка решила обождать. До конца урока оставалось добрых пятнадцать минут, как раз на покурить.

Курили обычно в закутке за мусорными ящиками. Анечка переступила через почерневшую банановую кожуру и, нырнув под низкую арку, присела на пластиковый стул. Сигарет осталось всего две, ну да купится... а может, дома покурить? Чисто внаглую, чтоб побесить и матушку, и тетушку? Нет, пожалуй, не стоит. Удовольствия – чуть, а нервы трепать потом долгехонько станут.

Дым свивался колечками, Анечка смотрела и ни о чем не думала. Было хорошо. Покой ее нарушил голос директрисы:

– Да помилуйте, откуда я знаю, были у нее конфликты или не были? – голос раздался совсем рядом, и Анечка рефлексивно дернулась, пряча сигарету за спину. – В мои обязанности не входит следить за каждым.

– Но вы же директор... – мягко упрекнул мужчину, Анечке незнакомый.

– Именно. Директор. Административный работник. В мои функции входит организация учебного процесса. А вот по вопросам частностей его – это к классному руководителю. Поймите, я физически не в состоянии знать всех учеников!

– Но некоторых же знаете?

– Некоторых знаю. В основном проблемных. И если я не знаю этой вашей...

– Капуценко.

– Капуценко, – повторила директриса неизменно презрительным тоном, – значит, она не была проблемной. Во всяком случае, настолько, чтобы мне ею заниматься.

Интересненько. А что с Капуценко? Анечка ее знала – корова. Не по фигуре, хотя и по фигуре тоже, но по жизни. И в Серегу влюбленная, думала, что никто не просекает, как она на него тишком пялится.

– Спросите у классного руководителя. У учителей. У одноклассников, в конце концов! – директриса сорвалась-таки на нервные ноты. – Но меня оставьте в покое! У нас обыкновенная школа. Бюджетная. Учеников – перебор. Учителей – недобор. Финансов нет...

Ага, конечно, тетушка каждый месяц круглую сумму меценатствует. Да только ни фигища не видно, чтоб меценатство это на пользу кому-то шло. Ну, кроме директрисы, конечно.

Дождавшись, когда голоса удалятся, Анечка докурила – уже безо всякого удовольствия – и выбралась из тайника. Похоже, придется возвращаться. Тут как раз звонок зазвенел...

Пока Анечка дошла – а шла она нарочно медленно – в фойе уже набралось народу. Носилась с визгом мелюзга, толклись у лестницы училки, и Сан Саныч, физрук, подслеповато вертел башкой, выглядывая кого-то.

– Глушина! – заорал он и в свисток дунул. – Наверх немедленно! К классному руководителю!

Ну конечно, сейчас учить примутся. Однако обошлось. Классуха, заалевшаяся, как маков цвет, сидела в уголке, а стол ее оккупировал лысоватый мужик с сонным взглядом.

– Драсьте, – сказала Анечка, присаживаясь за крайнюю парту. Кузьма придвинулся и горячо шепнул в ухо:

– Капуценко кирдык!

– Знаю.

Не то чтобы Анечка точно знала, но догадаться, что случилось чего-то напряжное, догадалась. И вот теперь по ходу ситуация прояснилась.

Кирдык... какое пошлое слово.

Нести папку в руках было неудобно, и Дашка купила пакет: темно-синий с желтыми астрами. Смотреть на них было радостно, да и вообще было радостно, хотя, конечно, перспектива разговора с Адамом изрядно эту радость портила.

В утешение и успокоение Дашка взяла мороженое. Так с мороженым в школу и явилась и бродила вокруг, приглядываясь к зданию, пока не доела.

Здание было так себе. Сложенное из красного кирпича, оно успело постареть, как-то перекосясь на один угол. Новенькие стеклопакеты смотрелись чуждо, а три узкие длинные клумбы походили на свежие могилы.

Ну уж нет! Дашка не позволит себе настроение испортить. И вытерев пальцы о пальто, она решительно шагнула под сень вывески: «СШ №5».

Пахло пирожками и котлетами.

– Вам к кому? – поинтересовалась грустная девочка с повязкой дежурного на руке.

– Мне бы Сергея Глушина увидеть, – Дашка улыбнулась. – Покажешь? Или Анечку.

Дежурная завертела головой, а потом ткнула в группку старшеклассников, что-то оживленно обсуждавших в углу.

– Вон. Светлый такой. Бледный. А вы тоже из-за Машки?

– Из-за какой Машки?

– Капуценко, – и сделав большие глаза, дежурная прошептала. – Ее убили! И из милиции приходили, правда, уже ушли. А вы из газеты, да? Вам не с Серегой говорить надо, а с Надькой, Машкиной подружкой. А Серега врать станет, что ничего не знает. Он и милиции врал.

– На самом деле знает?

Девочка кивнула.

– Знает. Он сам говорил, что Машка его уже достала. А она не доставала. Она его любила.

Вот.

– Баболкина! – завопили откуда-то со стороны лестницы, и дежурная вмиг исчезла. Баболкина... почти балаболкина. Ей подходит. Но вообще интересненько получается. Еще один труп, связанный с этой семейкой? Случайность? Вряд ли. Сделав зарубку в памяти, Дашка двинулась к цели.

Светленький, значит. Бледненький. И вправду бледненький, аж до белизны. Кожа нежная, тонкая, сосудики вон просвечивают, а под глазами круги. Сами же глаза темные, вишневые.

Прелесть, а не мальчик!

– Привет, – сказала Дашка, отстраняя высокого типа, от которого остро смердело табаком и потом. – Ты Сергей?

– Я.

– Поговорить надо.

Смерил презрительным взглядом, уголки рта дернулись, но ответил вежливо:

– Могу я узнать о содержании беседы? И хотелось бы еще о том, кто вы такая?

И чего тебе, старая страшная тетка, надобно? Воспитанный мальчик, да только не нравится он Дашке. С ней такое бывает: глянет на человека – и все, либо нравится, либо нет. Большой-то частью, конечно, пофиг, но...

– Выйдем, – ответила она, доставая удостоверение. Сергей изучал долго, потом хмыкнул и, уже не скрывая презрения, поинтересовался: – И кто вас нанял?

– Алина Красникина.

После этого презрение исчезло, а на лице появилось выражение виноватое, даже покаянное. Надо же, как она их держит! Небось чуть что – и прикрывает финансовый вентиль. Грустно.

– Вы не возражаете, – спросил Сергей, выйдя из школы, – если мы туда пойдем? Во дворы. Я не хочу, чтобы нас видели... лишние вопросы и все такое.

Дашка не возражала. Более того, дворик, в который ее привели, оказался вполне симпатичным. Здесь под сенью примерзшего клена стоял резной столик и две лавочки, прикрытые глянцевым пластиком. Чуть дальше виднелась песочница и горка, и даже высокие кусты пузыреплодника, чьи потемневшие кисти упрямо цеплялись за ветки.

– Я закурю? Вы только тетушке не говорите. Она страшно не любит, когда...

– Нарушают правила, – подсказала Дашка. На лавочку она не села, но подошла к качелям, подергала цепочки и, убедившись в прочности, взобралась на узкое сиденье. Качнулась, отталкиваясь ногами от земли.

– Именно. Нарушают правила. Она зациклена на этих своих правилах! Нельзя курить – это вредно. Нельзя есть свинину – это вредно. Нужно есть сырые овощи и вареную телятину – это полезно. Нельзя уходить из дому на ночь. Нельзя приводить в дом гостей... да куда ни сунься, ничего нельзя!

А пальчики дрожат. И курит он неумело, жадно вытягивая дым и быстро же его выпуская.

– Вас она из-за Таньки наняла, да? Думает, что ее убили?

– Да, – Дашка остановила качели и подняла влажноватый кленовый лист с отпечатком чьей-то ноги. – А вы что думаете?

– Я думаю, она права.

Неожиданный поворот. Дашка, признаться, ожидала, что парень станет убеждать в теткиной невменяемости, а он взял и согласился.

– Она много вам заплатила?

– Достаточно.

– Для чего? Для того, чтобы вы нашли убийцу? Или нашли того, на кого можно будет убийство свалить? Она же... моя тетка... это она виновата! Она про нас с Танькой узнала. Кричать начала. Никогда прежде не кричала, а тут прямо истерика. Танька же ее послала. И тетка... она ей пощечину дала. – сигарета вдруг выпала и парень, сев на землю, закрыл лицо руками. Оба-на, какие они, оказывается, эмоциональные и тонко чувствующие. – А потом Танька умерла. И как мне теперь жить?

Сложный вопрос. Каждый решает сам. И чужие рецепты, как показывает опыт, бесполезны. И потому Дашка молчала. Ждала. Дождалась. Вот всхлипы стихли, и Сергей поднялся, вернее, пересел на скамейку и принялся счищать с брюк грязь. Похоже, он успокоился достаточно, чтобы можно было продолжить разговор.

– Зачем Алине сначала убивать, а потом нанимать меня расследовать убийства, которого нет? – Дашка вертела лист в руках, вглядываясь в плотную кожистую поверхность, прорезанную плотными жилками. – Смерть признали естественной. Тело кремировали...

...но бог мертвых заинтересовался случаем и сделал повторное вскрытие, результаты которого отказался передать мадам Красникиной. Интересно, почему?

С другой стороны, эти его результаты ни один суд не примет. Красникина об этом знает.

– Понятия не имею, – буркнул Сергей. – Вот вы и выясните, а я расскажу все так, как оно было.

Уж будь любезен, милый друг. И начни с того, почему ты в свои девятнадцать до сих пор в школе.

– Болел, – ответил Сергей. – Или с документами чего-то. Не помню, честно говоря. Там столько всего произошло, что школа просто стерлась.

Лет до семи Сергей жил обыкновенно. Точнее, тогда эта жизнь казалась не то что нормальной – единственно возможной. Дом. Мамка вечно ворчащая. Отец пьяноватый. Сестранытик. Школа. Игры во дворе и за двором, летние купания в канаве и тайные походы в лес.

Пожалуй, он чувствовал себя вполне счастливым, но и перемены, когда пришли, воспринял спокойно.

Сначала было письмо. Белый конверт с крапиной марки и отпечатком большого пальца почтальонши Люси до вечера лежал на столе. Сергей ходил кругами, ожидая, когда конверт вскроют, а марку отдадут ему.

Когда терпение почти уже лопнуло, собрались все. И матушка, нацепив очки, из-за которых лицо ее становилось пугающе-чужим, вспоролла конверт кухонным ножом, который предварительно облизала. Письмо вытряхнула прямо на скатерть и взяла его брезгливо, как дохлую мышь. Все молчали. Даже Анечка, привыкшая орать за просто так, и та сидела молча.

Матушка читала. Сначала про себя, а потом вслух. И отец, очнувшись от вечной дремы, спросил:

– Ехать? Зачем?

– В гости, – отрезала матушка. Тогда Сергей еще не знал, что гости – это насовсем.

Собирались две недели. Таскали из подвала банки, чтобы снова отправить в подвал и притащить другие, понаряднее или, наоборот, попроще – матушкино настроение менялось быстро. Стирали. Утюжили. Набивали клетчатые сумки мягкотью вещей. Ругались. Тянули молнии и, когда те рвались, снова кричали.

Потом было прощание с соседкой, матушкин горделивый взгляд поверх головы и строгое указание поливать цветы. Далее – станция и поезд, остановившийся на две минуты. Пустой и гулкий вагон, который подпрыгивал и раскачивался, тем веселее было бегать. Правда, матушка вскоре бегать запретила, но нашлось другое занятие...

На третий день езды поезд наскучил. Тело ломило, а голова гудела, совсем как город, в который наконец добрались. Круглая лысина площади меж серых домов. Столбы с провисающими проводами. Трамвай, застрявший на путях. Машины. Много. И людей тоже много. Серега растерялся и выпустил отцовскую руку, Анечка привычно заорала...

– Галочка! – крикнул кто-то, и матушка решительно ломанулась на голос. Она взрезала привокзальную толпу телесами, а отец ширил проход тележкой и сумками. Сереге оставалось только спешить следом. Он и спешил, и запыхался, и не сразу понял, что гонка прервалась. Сумки подхватили, отца оттолкнули, пусть и вежливо. Самого Серегу подняли на руки, правда, тут же поставили, воскликнув:

– Какой большой! Ну здравствуй, племянничек!

– Знакомься, это тетя Алина, – сказала матушка и руку на голову положила, словно норовя защитить от незнакомой, вкусно пахнущей и поразительно красивой дамы.

Он смотрел и смотрел, снизу вверх, чувствуя затылком матушкино недовольство, но не в силах оторвать взгляд. И Анечка, замолчав, тоже разглядывала диковинный белый костюм с треугольными пуговицами, крохотную сумочку и шляпку-таблетку с кружевом вуали. Из-за вуали хитро, со знакомым прищуром, поглядывали черные глаза, а над губой присела мушка.

У матушки такая же. Только матушка мушки стесняется и каждое утро замазывает кремом, а эта, нарядная, наоборот, выставляет.

– Едем? – спросила она и подмигнула Сереге, а тот, не удержавшись, подмигнул в ответ.

Ехали сразу на трех машинах, и это тоже было удивительно. А как доехали, так Серега сразу устал удивляться. Витая ограда из кованых лоз. Широкая дорожка, которая шуршала под колесами авто. Зеленые луга, вернее, лужайки и кусты, стриженные в виде зверей. Но главное – белая громадина дома. Два десятка колонн и бессчетно – окон. Лестница. Львы. Чаши, в которых зеленела трава.

Матушкина рука на затылке тяжелела.

– Вот тут я и живу, – сказала тетка и снова подмигнула Сереге. – И хочу, чтобы ты жила со мной.

– Здесь?

– Здесь.

– Ну даже не знаю, – в матушкином голосе слышались грозные нотки. – У меня хозяйство. Работа...

– Огород на три грядки да стул в конторе? И перспектива дослужиться до главбуха, но вряд ли, ибо место одно, а желающих – много.

– Да что ты понимаешь!

– Все понимаю, Галочка. Прекрасно понимаю. Тебя коробит все это. Тебе хочется доказать, что твой выбор – единственно верный и правильный. Ты у нас всегда правильной была. Но о детях подумай. Неужели ты хочешь для него такой жизни? Школа, армия, ПТУ. Почетная профессия слесаря-станочника...

– Что в этом плохого? – матушка вцепилась в волосы, и Серега замер – а ну как дернет? Больно же.

– Ничего. И хорошего ничего. Будет всю жизнь на заводе пахать, а по выходным нажираться в хлам. И тайком мечтать о несбыточном. Хотя на него тебе, наверное, плевать. Но и дочка по твоим стопам пойдет, унаследует и место, и стул в конторе... Ты можешь дать им больше. Много больше. Нормальная жизнь. Хорошая школа. Университет. Не здесь, но в Америке или в Англии, потом подумаем. Возможность открыть бизнес и...

Матушка отпустила. Серега слышал, как тяжело она дышит, и боялся, что снова кашлять начнет, а то и вовсе сляжет, как в прошлую зиму.

– Тебе нужны мои дети?

– Своих у меня не будет, – спокойно ответила тетка и постучала в перегородку. Машина остановилась. – И я хочу дать шанс твоим. Нашим, если точнее. Неужели твои ревность и самолюбие этот шанс отнимут?

Матушка молчала.

– Подумай, Галина. Погости у меня. Я постараюсь, чтобы тебе понравилось. Но если захочешь вернуться, удерживать не стану. Помогать – тоже.

– Диктуешь условия?

– Имею право, – тетка выскользнула из машины ловко, а матушка выбиралась долго, сумкой отмахнувшись от протянутой водителем руки.

А вечером матушка и отец ссорились. Серега лежал в кровати, натянув одеяло на голову, и вслушивался в шипящие голоса за тонкой стеной. Слов было не различить, пока отец, устав возражать, не крикнул:

– Ты только о себе думаешь!

– А ты... ты о ней! Всегда о ней! И теперь тоже! Да она тебя купила! Только-только приехали, и уже...

– Замолчи.

И замолчали. А Серега вдруг понял, что они здесь надолго.

– Не думайте, что мне не нравилось, – он уже успокоился и даже руки дрожать перестали. Сидел. Курил. Глядел на небо и еще на клен, на вершине которого желтым флагом трепетал последний лист. – На самом деле все было классно. Игрушки, какие хочешь. Жвачки полно. Все вокруг на цырлах бегают и разве что в рот не заглядывают. А летом Танька с Олькой прикатили. Я с ними быстро скорешился... знаете, я вот только сейчас вспомнил одну историю. Она давняя и, наверное, ничего-то не значит, но если вспомнилась... вы же не против?

– Нет.

– Пойдем! – Танька ждала в комнате. Как она попадала сюда, умудряясь сбежать и от подслеповатой няньки, и от гувернантки, Серега понятия не имел. Но на всякий случай он выглянул в коридор и, убедившись, что там тихо, сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.